



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические записи.

Мы также просим Вас о следующем.

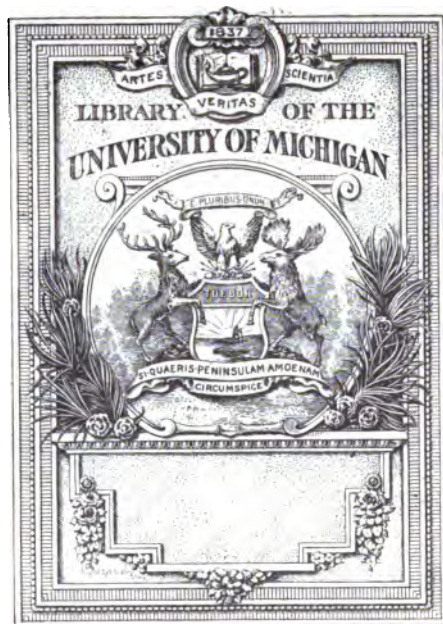
- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические записи.
Не отправляйте в систему Google автоматические записи любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

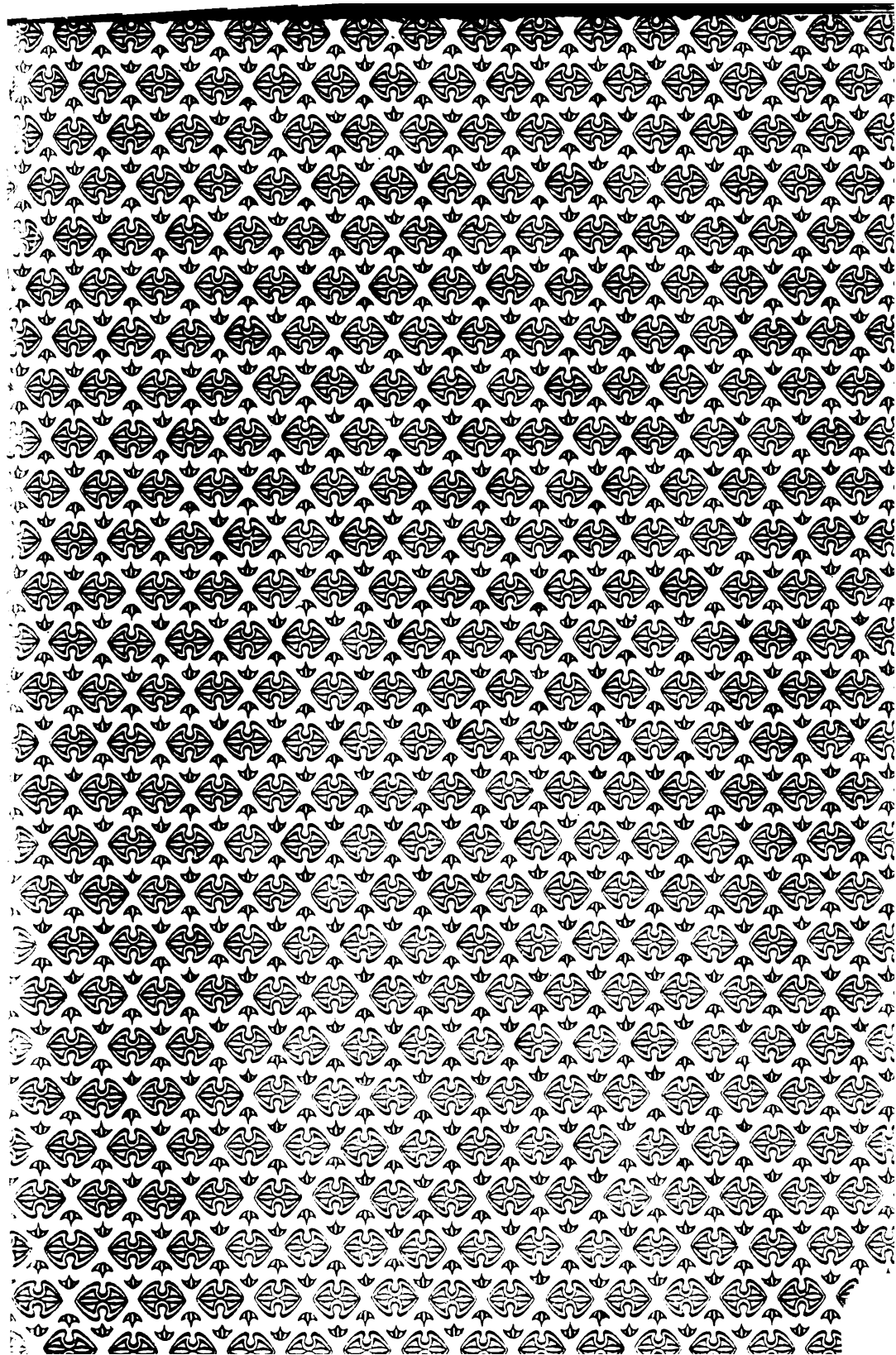
О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>

A 471908 DUPL









891.73

N 575

Q3

Собрание сочинений


А. И. НЕЗЕЛЕНОВА.

Издание Н. Т. Мартынова.

СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

ПРОФЕССОРА


А. И. Незеленова.



ТОМЪ ТРЕТІЙ

А. Н. ОСТРОВСКІЙ

въ его произведеніяхъ.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

1903.

1901



УОФМ

А. Н. Островскій.

Александръ Николаевичъ

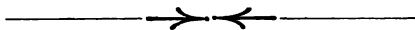
ОСТРОВСКІЙ

въ его произведеніяхъ.

Первый періодъ дѣятельности

(до историческихъ хроникъ).

*Согласенія профессора А. Н. Кезелова одобрены
ученымъ Комитетомъ Министр. Народнаго Про-
свѣщенія и помѣщены въ каталогахъ, издаваемыхъ Мини-
стерствомъ для Среднихъ Учебныхъ Заведеній на стр. 84
за № 1261, 62, для Бесплатныхъ народныхъ читаль-
ни на стр. 85.*



С.-Петербургъ.

Изданіе Книгопродавца **Н. Я. Мартынова.**

1903.

Тип. Исидора Гольдберга, Спб., Екатеринин. кан. 94.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

ПРЕДИСЛОВІЕ	Стр. 1
ГЛАВА I. Островскій—народный поэтъ.—Періоды его дѣятельности .	1
ГЛАВА II. „Семейная картина“.—„Свои люди сочтемся“	24
ГЛАВА III. „Не въ свои сани не садись“	54
ГЛАВА IV. „Бѣдность не порокъ“	70
ГЛАВА V. „Не такъ живи какъ хочется“	87
ГЛАВА VI. „Гроза“	101
ГЛАВА VII. „Грѣхъ да бѣда на кого не живетъ“.—„Воспитанница“ .	124
ГЛАВА VIII. „Бѣдная невѣста“	143
ГЛАВА IX. „Доходное мѣсто“	168
ГЛАВА X. „Въ чужомъ пиру похмѣлье“.—„Тяжелые дни“	189
ГЛАВА XI. Трилогія о Бальзаминовѣ. („Праздничный сонъ—до обѣда“, „Свои собаки грызутся,—чужая не приставай“, „Женитьба Бальзаминова“).	200
Общая заключенія о первомъ періодѣ дѣятельности Островскаго .	207

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Настоящая книга заключаетъ въ себѣ разборъ драмъ, комедій и сценъ *перваго періода* дѣятельности Островскаго. Это тѣ піесы, за которыми установились названіе *бытовыхъ*.—Анализъ историческихъ хроникъ поэта и произведеній послѣдняго періода его жизни составитъ второй томъ сочиненія.

Авторъ рѣшается выпустить въ свѣтъ начало своего труда ранѣе полнаго его окончанія по нижеслѣдующимъ причинамъ:

Во 1-хъ, первый періодъ дѣятельности Островскаго представляетъ собою нѣчто цѣльное и законченное, и слѣдовательно—тѣми-же свойствами можетъ отличаться и разборъ его.

Во 2-хъ, хотя надъ этимъ именно періодомъ работала критика Добролюбова и Аполлона Григорьева; но оба критика умерли давно и совершенно не были знакомы со второй половиной дѣятельности великаго народнаго драматурга. Вслѣдствіе этого представляется не безполезнымъ пересмотрѣть сдѣланное ими дѣло. Кромѣ того Аполлонъ Григорьевъ (лучшій цѣнитель

поэта) высказывалъ свои взгляды или въ общихъ чертахъ (не входя въ подробный разборъ піесъ), или эпизодически.

Въ 3-хъ, давно уже одинъ за другимъ сошли въ могилу тѣ великіе сценическіе дѣятели, которые были блистательными исполнителями піесъ Островскаго; а съ этимъ вмѣстѣ какъ-то отодвинулись на второй планъ на сценѣ и самыя піесы, уступивъ первое мѣсто смѣнившимся, но не замѣнившимся ихъ сочиненіямъ новыхъ писателей. Молодое поколѣніе артистовъ какъ-то плохо умѣетъ играть бытовыя комедіи и драмы Островскаго, что стоитъ, разумѣется въ связи съ равнодушнымъ отношеніемъ молодого поколѣнія вообще къ этой полостѣ творчества народнаго драматурга. Такое явленіе, конечно, не нормально и преходяще. Авторъ льститъ себя надеждой, что своимъ трудомъ, напоминаніемъ о великихъ произведеніяхъ поэта, внесетъ хотя малую долю въ то общее дѣло, за которое должна-бы теперь приняться наша литература, а въ-частности театральная критика (если-бы таковая у насъ существовала), дѣло — возстановленія на сценѣ бытовыхъ комедій и драмъ творца народнаго русскаго театра, возстановленія путемъ пробужденія въ обществѣ сознанія о важности этихъ произведеній. Еще связи съ прошлымъ сцены не порваны; еще есть артисты, стоящіе на высотѣ задачи, о которой идетъ рѣчь: молодымъ сценическимъ дѣятелямъ еще есть у кого поучиться...

Авторъ льститъ себя и тою надеждой, что книга его, попавъ въ руки молодого поколѣнія вообще, пробудитъ,

хотя-бы даже въ немногихъ, интересъ и живое участіе и къ той полосѣ творчества Островскаго, которая была такъ дорога современникамъ поэта. Этимъ-же послѣднимъ книга напомнить о томъ, что такъ несправедливо стала забывать новая жизнь.

А. Незеленовъ.

14 февраля
1888 г.

Александръ Николаевичъ

Островскій

въ его произведеніяхъ.

АЛЕКСАНДРЪ НИКОЛАЕВИЧЪ

ОСТРОВСКІЙ

ВЪ ЕГО ПРОИЗВЕДЕНІЯХЪ.

ПЕРВЫЙ ПЕРІОДЪ ДѢЯТЕЛЬНОСТИ.

ГЛАВА I.

Островскій—народный поэтъ.—Періоды его дѣятельности.

Второго іюня 1886 года въ спокойномъ и привольномъ краѣ, въ деревнѣ близъ города Кинешмы, на Волгѣ, въ сердцѣ Россіи, неожиданно скончался Островскій.—Внезапно остановилась великая творческая дѣятельность, создавшая цѣлый міръ новыхъ образовъ въ поэзіи, создавшая народный театр...

Русское общество встрѣтило тяжкую утрату почти равнодушно и холодно... Не будемъ здѣсь входить въ разборъ причинъ такого страннаго явленія; но вспомнимъ, что почившій писатель прежде, втеченіи многихъ лѣтъ, увлекалъ насъ.—Еще болѣе будетъ увлекать онъ, конечно, наше потомство, ибо принадлежитъ къ числу тѣхъ избранниковъ Божіихъ, отмѣченныхъ печатью гения, чьи труды переживаютъ время.

Началу дѣятельности Островскаго посчастливилось: его первая пьеса не только были встрѣчены вниманіемъ и восторгомъ читателей и зрителей, но ихъ привѣтствовали и два выдающихся критика: Добролюбовъ и Аполлонъ Григорьевъ.—Первый анализировалъ темныя стороны изображеннаго писателемъ быта; вто-

рой понял дѣло глубже, и опредѣлилъ Островскаго какъ *народнаго поэта*, сказавшаго своими комедіями „новое слово“ въ нашей литературѣ.—Но оба критика рано сошли въ могилу,—и вторая половина дѣятельности народнаго драматурга не подвергалась уже, къ сожалѣнію, ихъ суду; критика же послѣднихъ 15—20 лѣтъ стояла ниже своего призванія. Сдѣлалось, напр., общимъ мѣстомъ считать послѣднія пьесы Островскаго слабыми и недостойными его таланта. А рядъ некрологовъ и критическихъ очерковъ дѣятельности знаменитаго писателя, появившихся вслѣдъ за его кончиной, почти только повторялъ мысли Добролюбова; Аполлонъ же Григорьевъ, лучшій цѣнитель Островскаго, оказался забытымъ, чтобы не сказать болѣе—неизвѣстнымъ современнымъ литературнымъ судьямъ. Въ послѣднее время, впрочемъ, сдѣланы были попытки болѣе серьезной оцѣнки творчества поэта.

Такъ обстоитъ дѣло пониманія Островскаго и созданнаго имъ поэтическаго міра.—Самое цѣнное изъ всего сказаннаго о поэтѣ есть, конечно, наименованіе его народнымъ писателемъ.

Народный поэтъ... Опредѣленіе это, повидимому такое ясное, такое простое, на самомъ дѣлѣ есть одно изъ самыхъ неопредѣленныхъ и смутныхъ понятій въ нашей литературѣ и жизни. Много было споровъ о томъ, что такое народность и что надо понимать подъ народностью литературы,—и, однако, вопросъ донинѣ остается открытымъ.—Справедливость требуетъ сказать, впрочемъ, что одна сторона дѣла прекрасно объяснена Апол. Григорьевымъ.

Какъ подъ именемъ народа (говорить критикъ) *) разумѣется народъ въ обширномъ смыслѣ и народъ въ тѣсномъ смыслѣ, такъ

*) Соч. Апол. Григорьева, Спб., 1876 г., т. I, 120.

равномѣрно и подѣ народностью литературы... Литература бываетъ народна въ первомъ смыслѣ, когда она въ своемъ міросозерцаніи отражаетъ взглядъ на жизнь, свойственный всему народу, опредѣлившійся только съ болѣею точностью, полнотою и, такъ сказать, художественностью въ передовыхъ его слояхъ... Въ тѣсномъ смыслѣ литература бываетъ народна, когда она или 1) принаравливается къ взгляду, понятіямъ и вкусамъ неразвитой массы, для воспитанія ея, или 2) изучаетъ эту массу какъ *terram incognitam*, ея нравы и понятія какъ нѣчто чудное, ознакамливая съ ними развитые и, можетъ быть, пресытившіеся развитіемъ слои. Во всякомъ случаѣ, въ томъ или другомъ, — существованію такой литературы предпосылается историческій фактъ разрозненности въ народѣ...

Народность литературы въ обширномъ смыслѣ слова есть понятіе безусловное; въ тѣсномъ смыслѣ — понятіе относительное, и въ этомъ послѣднемъ случаѣ литература

перестаетъ быть художествомъ, а становится педагогикой или естественной исторіей.

Если Островскій поэтъ народный, то, конечно, въ обширномъ смыслѣ слова народность. — А то обстоятельство, что типы первой половины своей дѣятельности онъ бралъ преимущественно изъ купеческаго міра (т. е. народнаго въ тѣсномъ смыслѣ), Григорьевъ объясняетъ весьма остроумнымъ соображеніемъ, что

въ этомъ мірѣ цѣлыя удерживаются и яснѣе обозначаются типы общей, родовой національности, которой существенныя, коренныя черты одинаково общи всѣмъ слоямъ.

Мы теперь, зная весь кругъ пьесъ Островскаго, можемъ прибавить къ словамъ высокодаровитаго критика, что поэтъ и не ограничился купеческимъ бытомъ, а бралъ типы и изъ другихъ слоевъ общества, и если эти послѣдніе оказались въ его драмахъ блѣднѣе первыхъ — то въ этомъ не его вина, а такова уже характеристическая черта жизни нашего времени.

Такъ объяснилъ дѣло и попытался рѣшить вопросъ о народности литературы Апол. Григорьевъ. Но не трудно замѣтить, что его рѣшеніе—неполное и даже относится больше къ внѣшней сторонѣ объясняемаго понятія. Въ самомъ дѣлѣ: народный поэтъ—тотъ, кто въ своемъ міросозерцаніи выражаетъ народный взглядъ на жизнь... Но вѣдь въ этомъ смыслѣ народенъ не одинъ Островскій, а точно также народны и Тургеневъ, и гр. Л. Толстой, и Пушкинъ и т. д. Всякій истинный поэтъ, конечно,—представитель своего народа и выражаетъ въ своихъ сочиненіяхъ народное міросозерцаніе. Если же судить не качественно, а количественно, т. е. признать, что Островскій *болѣе* народный поэтъ, чѣмъ другіе наши крупныя писатели, полнѣе выражаетъ народную мысль, народное чувство и наши національныя особенности,—тогда придется вмѣстѣ съ этимъ поставить его выше и Тургенева, и Достоевскаго, и Пушкина, и Гоголя, чего, конечно, не думалъ дѣлать Ап. Григорьевъ и что вышло бы абсурдомъ.

И такъ, вопросъ о томъ, что такое *народность* литературы и что такое народное начало вообще,—требуетъ инаго рѣшенія. Слѣдуетъ вникнуть въ сущность дѣла, поставивъ его на психологическую почву.

Душа человѣка проста и несложна по своей природѣ; но путемъ отвлеченія мы можемъ разложить ее на отдѣльныя стихіи, силы, или способности, каковы: воображеніе, чувство, мысль. И не только отвлеченно, но и въ дѣйствительной жизни совершается это раздѣленіе души. Историческое развитіе человѣчества такъ сложилось, что человѣкъ не живетъ теперь всею полнотою своего духовнаго существа,—въ жизни cadaго изъ насъ обыкновенно преобладаетъ то или другое начало: кто

живетъ преимущественно умомъ, кто руководится впечатлѣніями и порывами чувства, кто увлекается образами, создаваемыми его фантазіей. Притомъ въ разные періоды человѣческаго развитія преобладаетъ та или другая стихія его души: воображеніе отличаетъ младенчeskій возрастъ, ранней юности свойственно увлеченіе чувствомъ...

Есть аналогія между отдѣльнымъ человѣкомъ и народомъ, или обществомъ: какъ въ жизни личности, такъ и въ жизни человѣческаго общества или народа бываютъ эпохи младенчества, юности, зрѣлаго возраста, бываютъ времена умственныхъ сомнѣній, времена увлеченій сердца.—Творческая фантазія отличаетъ древній міръ, до совершенства доведшій пластическое искусство, давшій намъ образцы прекрасныхъ формъ, красоты какъ красоты. Романтизмъ, юношеская жизнь сердца характеризуетъ средніе вѣка, эпоху рыцарскихъ подвиговъ, рыцарскаго обожанія женщины. Умъ и его развитіе въ философіи и наукахъ составляетъ отличительный признакъ жизни новыхъ временъ Западной Европы.—И какъ въ отдѣльномъ человѣкѣ можно подмѣтить обыкновенно перевѣсъ одной изъ душевныхъ силъ, такъ точно можно подмѣтить это и въ жизни отдѣльных племенъ и народовъ: чувство отличаетъ народы романскіе, мысль есть принадлежность и отличіе германскаго племени... Сообразно съ этимъ то или другое племя выступаетъ въ разные эпохи на первое мѣсто въ исторіи.

Но, какъ ни раздвѣивается душа человѣка, какъ ни обособляются въ насъ отдѣльныя стихіи духа,—гдѣ-то тамъ, въ сокровенной глубинѣ нашего существа сохраняется первоначальное единство; есть у каждаго изъ насъ такой уголокъ души, въ которомъ соблюдается

гармонія силъ, и умъ не спорить съ чувствомъ, сомнѣнія не подрываютъ вѣры, не обособляется дѣятельность фантазіи. Если говорить не объ отдѣльныхъ личностяхъ, а о народахъ, то хранительницей такого первоначальнаго единства является народная масса, т. е. такъ-называемый простой народъ.

Этотъ нераздвоенный уголокъ души называется совѣстью. Не будь его—и та или другая исключительно развившаяся въ насъ жизненная сила закружила бы насъ въ своемъ безудержномъ стремленіи и погубила въ односторонней крайности увлеченія. Нѣтъ человѣка, у котораго не было бы подобнаго уголка души; но у однихъ онъ замѣтнѣе, у другихъ слабѣе.

Замѣчательно, однако, что, поставленный такимъ образомъ на одну линію съ обособившимися и отдѣльно развившимися силами, онъ самъ становится какъ бы отдѣльной стихіей, отдѣльной силой души. Въ немъ—правда, потому что онъ не одностороненъ; но какъ не захватившій всей души, а превратившійся въ одно изъ ея началъ, онъ этимъ самъ дѣлается одностороннимъ, и его односторонность сказывается въ недостаткѣ энергіи, страстной силы стремленія и порыва. Люди, которые ему отдали предпочтеніе, отличаются спокойствіемъ, трезвымъ пониманіемъ правды, отсутствіемъ ложныхъ увлеченій; но въ нихъ мало огня, мало силы духовной жизни,—и это даетъ просторъ плоти, въ нихъ развивается (правда, не въ злобныхъ порывахъ, а въ спокойныхъ формахъ) чувственная сторона человѣческаго существа и какъ бы заявляетъ о равноправности тѣлесной жизни съ жизнью духовной. У такихъ людей мало идеализма; они неподвижны и лѣнны и легко могутъ впасть въ сонъ духа. Илья Ильичъ Обломовъ—чудесный человѣкъ, съ безконечно добрымъ, незлобивымъ сердцемъ;

но душа его не унеслась въ духовную высь, а удовлетворялась добродушнымъ прозябаніемъ на Выборгской сторонѣ, въ хозяйственномъ домѣ Агафьи Матвѣевны.— Одностороннее развитіе той или другой душевной силы, ума, или сердца, или фантазіи—есть, конечно, заблужденіе; но заблужденіе заключается здѣсь именно въ односторонности, а не въ развитіи, не въ силѣ увлеченія; эти послѣднія, напротивъ, составляютъ правду такой жизни. До величайшаго идеализма, до Мадонъ Рафаэля въ искусствѣ, до благоговѣйнаго уваженія къ женщинѣ, до платонической любви поднималось чувство средне-вѣковаго человѣка. Съ уваженіемъ останавливается нашъ взоръ передъ идеализмомъ германской философирующей мысли, стремившейся проникнуть въ сущность жизни, охватить весь міръ однимъ принципомъ. Правда, такіе порывы идеализма имѣютъ и оборотную сторону: порывъ по самому существу своему есть нѣчто непродолжительное, временное, и какъ таковой онъ смѣняется обыкновенно противоположною крайностью; благоговѣвшіе передъ женщиной и ея чистотою въ свѣтлыя минуты увлеченія, рыцари въ другое время падали въ страшныя бездны разврата. Смѣлость и глубина мысли въ германскомъ племени уживается съ непониманіемъ комическихъ явленій жизни, съ отсутствіемъ юмора, быстроты пониманія и ясной трезвости ума.—Но причины этого—не сила развитія обособившейся душевной способности, а именно ея обособленіе, т. е. раздвоеніе души. Это раздвоеніе ведетъ также къ себялюбію, къ эгоистическому развитію личнаго начала. Возвышенный и смѣлый искатель истины, благородный мученикъ сомнѣній. Фаустъ безжалостно губитъ Гретхенъ и потомъ, въ новыхъ поискахъ за истиной, даже забываетъ ее, страдающую, измученную, заключенную, потому что онъ

не могъ и не хотѣлъ поставить ее наряду съ собою и свысока смотрѣлъ на ея наивную непосредственность, на ея простодушное сердце.

По строгой аналогіи между жизнью отдѣльныхъ человѣческихъ личностей и жизнью цѣлыхъ племенъ, есть племена, историческое назначеніе которыхъ было развить до крайнихъ предѣловъ ту или другую обособившуюся стихію человѣческаго духа; таковы племена западно-европейскія;—и есть племя, призваніемъ котораго было хранить, при раздвоенности исторической жизни человѣчества, нетронутую цѣлость души; таково племя славянское; но, по волѣ Провидѣнія, назначеніе славянства было именно только консервативное, охраненіе твердыхъ устоевъ жизни, а не прогрессивное движеніе ума или чувства, науки, искусства, творческой дѣятельности.

Оттого на Западѣ развилась жизнь личности, или отдѣльныхъ личностей съ ихъ раздвоеніемъ, съ ихъ эгоизмомъ и взаимной враждою, но и съ энергіей и силой творчества. Въ славянствѣ, и въ частности у насъ на Руси, въ противоположность этому, развилась жизнь общинная съ ея тишиною и миромъ, жизнь, гдѣ человѣкъ служить обществу, личность преклоняется передъ народной правдою, но гдѣ эта личность лишена была инициативы, а сама жизнь легко переходила въ застой.

Но какъ душа не можетъ вся превратиться въ одну силу, или стихію, и за ея односторонней жизнью таятся другія силы, таятся и уголокъ нетронутого, нераздвоеннаго бытія; такъ и въ народахъ и въ племенахъ, не смотря на преобладаніе одного начала, живутъ и начала другія. Центръ жизни славянства—въ народныхъ массахъ, хранящихъ въ себѣ нераздвоенную цѣльность духа; личности играли въ нашей старой исторіи неболь-

шую роль; но эти личности все-таки были, и въ нихъ проявлялись обособившіяся стихіи души. На Западѣ Европы, напротивъ, главное мѣсто въ жизни принадлежало отдѣльнымъ личностямъ съ ихъ одностороннимъ развитіемъ силъ; а народныя массы занимали мѣсто второстепенное; но эти массы все-таки жили, и въ ихъ жизни сказывалось то же, что и въ народныхъ массахъ славянства—нераздвоенная цѣльность духа.

Отсюда, изъ этихъ общихъ психологическихъ соображеній слѣдуетъ, что понятіе „народный писатель“, „народный поэтъ“ можетъ имѣть два смысла: народнымъ можно назвать или того писателя, который выражаетъ въ своихъ произведеніяхъ существенную сторону жизни своего племени, будетъ ли эта сторона проявляться въ жизни общества и его отдѣльныхъ личностей, или въ жизни народныхъ массъ; или народнымъ писателемъ можно назвать того, кто выражаетъ въ себѣ сущность жизни именно народной массы. Гете будетъ народенъ въ первомъ смыслѣ, какъ поэтъ-мыслитель, ибо мысль есть существенный признакъ германскаго племени, и не народенъ во второмъ смыслѣ, или, по крайней мѣрѣ, такое народное значеніе его можетъ быть сильно заподозрѣно.—Не трудно замѣтить, что для племени славянскаго оба смысла понятія „народный писатель“ сливаются въ одно.

Какъ же примѣнить это къ Островскому и къ нашей русской литературѣ вообще? Въ какомъ смыслѣ народный поэтъ Островскій? — Здѣсь мы опять должны сдѣлать отступленіе.

Современная русская жизнь—не то, что жизнь до-Петровской Руси, и хотя имѣетъ съ этой послѣдней преемственную историческую связь, но не есть ея простое и прямое продолженіе. Жизнь русскаго общества

послѣ-Петровскихъ время явленіе необычайное въ исторіи. Реформа Петра Великаго была переворотомъ въ полномъ и истинномъ значеніи этого слова: Петръ не просто сблизилъ насъ съ Западной Европой, онъ породнилъ насъ съ нею; и прошлое Запада, прошлое чужихъ странъ стало послѣ этого для насъ, русскихъ, нашимъ прошлымъ; мы сдѣлались наслѣдниками не только образованности нашихъ предковъ, но и богатыхъ цивилизацій западныхъ народовъ; для насъ крестовые походы, реформація—чуть не такое же, или почти такое же, родное минувшее, какъ татарское иго или 1612 годъ на Руси; кому изъ насъ Шекспиръ не такъ же близокъ, какъ „Слово о полку Игоревѣ“?—Не переставая быть самими собой (хотя иной разъ и казалось, что мы отреклись отъ себя), мы, со времянъ геніальнаго Преобразователя, стали жадно и страстно усваивать себѣ и формы, и содержаніе чужихъ жизней. Выходилъ подчасъ хаосъ невообразимый; но здоровая природа русской души все выносила,—и чужое добро незамѣтно и тайно сливалось съ роднымъ богатствомъ. Много злаго, темнаго и пустаго въ нашей новой жизни; но Петровскій періодъ нашей исторіи есть, однако, великая эпоха гармоническаго сліянія воедино переживаемыхъ нами тревожныхъ, энергическихъ и страстныхъ западно-европейскихъ началъ съ простыми, смиренными и добрыми началами русской народной жизни. Необычайный историческій процессъ еще не завершился; но мы уже вышли изъ его хаоса, успокоились бродившія въ немъ силы, — и начинается новая, *наша* идея, новый духовный историческій образъ, своеобразное міросозерпаніе.

Какъ для отдѣльной души человѣческой должно наступить время гармоническаго сліянія и примиренія бро-

дившихъ силъ между собою и съ внутренними устоями духа, съ его совѣстью,—иначе не будетъ для человѣка спокойствія и счастья;—такъ и въ жизни историческихъ народовъ должно было наступить время соединенія и примиренія выражаемыхъ каждымъ изъ нихъ въ отдѣльности стихій духовной жизни. Въ исторіи новаго русскаго общества и совершается этотъ великій міровой процессъ сліянія противоположныхъ элементовъ, — общиннаго начала древней Руси и личнаго начала западно-европейской образованности.

Темна и безотраднa во многомъ наша жизнь, но назначеніе ея — великое. „Недостойные избранья“, мы избраны, — невольно припоминаются намъ слова благороднаго поэта, обращенныя къ горячо любимой имъ родной землѣ:

О, недостойная избранья, ты избрана!
Скорѣй омой себя водою покаянья,
Да громъ двойнаго наказанья
Не грянетъ надъ твоей главой!

Тяжело переживаются великія историческія событія, особенно когда онѣ совершаются не во внѣшнемъ мірѣ, а во внутреннемъ мірѣ народнаго духа. Но если мы переживемъ, вынесемъ то, что теперь испытываемъ, мы овладѣемъ свѣтомъ Божіей правды, и чистымъ потокомъ разольется этотъ свѣтъ по народамъ и странамъ міра, — и мы подготовимъ „царство Божье на землѣ“. — Да не смущается только сердце наше царящей у насъ теперь апатіей, холоднымъ замираніемъ жизни: когда (по вдохновенной мысли великаго поэта) посланникъ Божій шестикрылый Серафимъ разсѣкъ мечемъ грудь человѣка предназначеннаго въ пророки и, приникши къ устамъ его, вырвалъ языкъ его, и вложилъ ему въ грудь пы-

лающій уголь вмѣсто трепетнаго сердца, а въ уста жаломудрой змѣи вмѣсто языка, празднословнаго и лукаваго, — человекъ замолкъ и замеръ отъ страшныхъ ощущеній, пораженный и измученный; онъ лежалъ въ окружавшей его пустынѣ безжизненно, какъ трупъ. Но голосъ Бога воззвалъ къ нему:

Возстань, пророкъ, и виждь, и вступи,
Исполни волю Моею!

И человекъ всталъ — сильный, могучій, свѣтлый, и пошелъ на вдохновенную проповѣдь — жечь своимъ глаголомъ людскія сердца. — Раздается и для насъ, въ нашей безотрадной пустынѣ, голосъ зовущаго Бога; только да не исчезнуть и не умолкнуть наши затаенныя сердечныя стремленія къ царству правды и свѣта и наши молитвы объ озаряющей благодати, о Божіей помощи нашему невѣрью.

Великимъ историческимъ назначеніемъ нашей новой жизни объясняется и тотъ, повидимому странный, фактъ, что эта кажущаяся такою бѣдною жизнь можетъ похвалиться необычайно богатою, высокою литературою. — Прошло или проходить уже то время, когда мы не рѣшались цѣнить своего богатства и простодушно воображали и говорили, что, конечно, Пушкинъ и Гоголь великіе поэты, но куда-же имъ равняться съ европейскими геніями, съ Байронами и Шиллерами! Сама Европа отдала справедливость нашимъ писателямъ и стала удивляться ихъ творчеству; за Европой и мы начали понимать, что напрасно себя унижали... Байроны и Шиллеры, Гете и Гюго, при всемъ величій ихъ поэзіи, оказываются, однако, выразителями одностороннихъ идей, обособившихся духовныхъ стихій, развивавшихся въ жизни ихъ народовъ. Наши поэты — носители высшихъ началъ: въ ихъ творествѣ отражалась и отражается многосто-

ропная и богатая новая русская жизнь; Пушкинъ въ юности воспринялъ въ себя Байрона, и поэзія міровой скорби англійскаго генія стала однимъ изъ элементовъ его поэзіи; но его поэзія богата еще и другими элементами,—она восприняла въ себя міръ народнаго русскаго творчества, и изъ всѣхъ усвоенныхъ и пережитыхъ ею стихій выработала свое особое, высшее творческое начало.

Поэзія по самому существу своему противна душевному раздвоенію; смыслъ искусства — въ томъ, что оно носитъ въ себѣ гармонію и примиреніе. Поэтъ — тотъ, въ комъ стройно сливаются во-едино разрозненные въ нашей жизни силы духа; это и даетъ поэту возможность спокойно судить жизнь въ ея отклоненіяхъ отъ вѣчной правды, озаряя ее немеркнущимъ свѣтомъ тѣхъ высотъ, на которыя возносится его примиренный духъ.—Наша жизнь, въ которой совершается процессъ сліянія и примиренія мысли, чувства, фантазіи, совѣсти, наша жизнь поэтому и благопріятствуетъ развитію поэтическаго творчества, давая ему богатое содержаніе, создавая и самихъ поэтовъ.

Но до полнаго гармоническаго единства наша жизнь еще не дошла, она еще не чужда нѣкотораго раздвоенія и односторонностей. И вотъ почему въ творчествѣ и нашихъ поэтовъ, дѣтей своего общества, при всей многосторонности ихъ созданій, при всей гармонической полнотѣ содержанія ихъ идеаловъ, все еще слышится перевѣсъ той или другой стихіи духовной жизни. Такъ, въ поэзіи Пушкина главный элементъ — фантазія, красота образовъ, картинъ, стиха и слога; потому онъ былъ поэтъ положительной стороны дѣйствительности, ея прекрасныхъ явленій,—и какъ поэтъ красоты, какъ художникъ, Пушкинъ не имѣетъ себѣ равнаго, не имѣетъ со-

перника. Но въ чуткости и впечатлительности, въ нѣжности чувства онъ уступаетъ Гоголю; чувство, сердце—отличительный признакъ творчества автора „Мертвыхъ душъ“; страстной тоскою отзывался поэтъ на открывавшіяся его чуткому взору отрицательныя явленія жизни, потому что его любящее сердце не могло не трепетать отъ диссонансовъ дѣйствительности.—Въ противоположность Гоголю, Тургеневъ былъ поэтъ мысли по-преимуществу, поэтъ анализа, сознанія и сомнѣнія, хотя, конечно, поэтъ мысли не въ томъ смыслѣ какъ Гете, идеализировавшій мысль и ея служителей до высокомѣрнаго отношенія къ жизни непосредственной, до холодности своей поэзіи: поэзія Тургенева была вся проникнута чувствомъ и не высокомѣрно смотрѣлъ на непосредственную жизнь авторъ „Записокъ охотника“.

Такое-же значеніе въ нашей жизни, какъ чувство, какъ мысль, имѣетъ и живущее въ ней, сливающееся въ великомъ историческомъ процессѣ съ другими ея элементами, народное начало. Какъ Пушкинъ, Гоголь, Тургеневъ были многосторонними выразителями нашей жизни вообще, а въ-частности и преимущественно одной изъ ея стихій, фантазіи, чувства, мысли; такъ Островскій былъ тоже выразителемъ и поэтомъ ея многосторонняго содержанія вообще, преимущественно-же ея *народнаго начала*. Онъ не поэтъ народной стихіи въ ея непосредственной жизни въ народныхъ массахъ, а поэтъ народнаго начала въ томъ его видѣ, въ какомъ оно живетъ въ нашемъ обществѣ, въ соприкосновеніи и сліяніи съ стихіями страстной мысли, глубоко развитаго чувства.

По этимъ причинамъ Островскій съ особенной любовью останавливался (по крайней мѣрѣ въ первой половинѣ своей дѣятельности) на изображеніи купече-

скаго быта, въ которомъ, въ его столкновѣніи съ образованнымъ классомъ, особенно оригинально и ярко выразились народныя особенности. Но Островскій не могъ ограничиться этимъ бытомъ,—и уже параллельно съ первыми бытовыми комедіями онъ пишетъ комедіи изъ жизни чиновниковъ и дворянъ; а затѣмъ, во второй половинѣ своей жизни, даже преимущественно останавливается на изображеніи образованнаго класса.

Въ идеалѣ Островскаго, въ его отношеніяхъ къ жизни преобладаютъ народные чувства и взгляды; но поэтъ поднимается выше непосредственности народныхъ отношеній; сознательно скорбное или радостное чувство, глубоко анализирующая мысль заставляютъ его объективно взглянуть на народный міръ—и зачастую неудовлетвориться имъ и его жизнью.

Мѣсто Островскаго, такимъ образомъ, — наряду съ Гоголемъ, Тургеневымъ... Прибавимъ къ этому (для уясненія индивидуальных особенностей поэта) два слова объ отношеніяхъ творчества Островскаго къ творчеству такихъ писателей, какъ Лермонтовъ, Достоевскій, гр. Л. Толстой.

Геніальный и рано погибшій юноша Лермонтовъ былъ поэтъ бурныхъ и страстныхъ увлеченій, огненныхъ чувствъ. До конца не могъ онъ освободиться отъ вліянія Байрона и идеализировалъ въ своихъ произведеніяхъ гордые и страстные байроническіе характеры. Въ этомъ у него, конечно, нѣтъ ничего общаго съ Островскимъ. Единственной точкой соприкосновенія между ними можетъ служить народный образъ Лермонтовскаго Максима Максимыча да два-три спокойнымъ чувствомъ проникнутыхъ стихотворенія.

Точно такъ-же мало общаго между Островскимъ и Достоевскимъ. Избравъ своей спеціальностью изображе-

ніе людей униженныхъ и оскорбленныхъ, нравственно и физически больныхъ, безвольныхъ, внося страстную силу анализа и порой духъ христіанскаго сочувствія въ этотъ больной міръ, Достоевскій не уберегъ, однако, отъ болѣзни и свое поэтическое міросозерцаніе; неспокойное, тревожное, его творчество доходитъ до идеализированія болѣзненныхъ чувствъ и хилыхъ морально и физически людей.—Островскій былъ чуждъ всего этого.

Больше, повидимому, сходства между Островскимъ и гр. Л. Толстымъ: оба писателя стремятся къ правдѣ и отъ трезваго взгляда обоихъ не укроется ложь. Но Островскій ищетъ и находитъ правду положительную, правду въ реальныхъ явленіяхъ жизни. Гр. Толстой во имя требованій правды разрушаетъ дѣйствительную жизнь, заподозривъ ложь во всѣхъ ея явленіяхъ. Одинъ поэтъ положенія, другой—отрицанія.

Опредѣливъ мѣсто Островскаго въ исторіи нашей жизни и литературы, назвавъ характеристическій признакъ его творчества—*народность*, обратимся теперь къ разсмотрѣнію самой дѣятельности поэта.

„Новое слово“ Островскаго въ нашей литературѣ—былъ тотъ новый взглядъ на жизнь и людей, которымъ онъ поразилъ современниковъ своихъ первыхъ комедій. Островскій посмотрѣлъ на жизнь спокойно, безпристрастно, благодушно, взглядомъ здоровымъ, безъ увлеченія бурными страстями, безъ идеализированія приподнятыхъ или болѣзненныхъ чувствъ, безъ крайняго отрицанія, и въ то-же время съ юморомъ трезваго ума, здраваго русскаго смысла. Притомъ въ первыхъ же своихъ созданіяхъ онъ заявилъ себя именно *поэтомъ* жизни, а не ея обличителемъ и карателемъ. Онъ осмѣялъ

и казнилъ судомъ поэтической правды самодурство народнаго быта; но онъ-же съ глубокимъ сочувствіемъ изобразилъ намъ и всю поэзію этого быта, его вѣрованій и обычаевъ, его человѣческихъ отношеній и чувствъ.

Въ закончившемся на нашихъ глазахъ творчествѣ великаго художника мы можемъ различить три эпохи: къ первой относятся бытовыя комедіи и драмы; ко второй—пьесы историческаго содержанія и вообще рисующія древнюю русскую жизнь; въ третьемъ періодѣ Островскій изображалъ беспочвенные слои нашего общества. Какъ у всякаго высокаго поэта, для котораго поэзія есть цѣль жизни, весь этотъ кругъ пьесъ Островскаго представляетъ цѣльный и стройный, въ самомъ себѣ замкнутый міръ, и въ этомъ мірѣ главное мѣсто принадлежитъ выражающейся въ немъ, въ его безконечно разнообразныхъ явленіяхъ, личности творца его. Мы можемъ наблюдать, какъ эта личность живетъ высокою поэтическою жизнью, то подмѣчая свѣтлыя явленія дѣйствительности, то ея отрицательныя стороны, то увлекаясь, то разочаровываясь, и вѣчно стремясь къ своему идеалу, оудя жизнь при его правду и ложь озаряющемъ свѣтѣ. Подмѣтить эту личность поэта и ея идеаль — будетъ главной задачею настоящаго сочиненія, ибо смыслъ искусства вообще, а поэзіи въ-особенности, и заключается именно въ личности поэта, въ его міросозерцаніи, въ той точкѣ зрѣнія, съ которой онъ освѣщаетъ изображаемыя имъ явленія. Искусство безъ такого озаряющаго свѣта идеала—уже не искусство, а простая копія съ дѣйствительности.

Островскій началъ комедіей „Свои люди сочтемся“, гдѣ изобразилъ живыми, яркими чертами самодурство сильныхъ людей; онъ продолжалъ живо писать это самодурство и въ слѣдующихъ пьесахъ, прибавивъ къ его

типамъ еще образы забытыхъ и приниженныхъ слабыхъ людей. Но въ комедіяхъ: „*Не въ свои сани не садись*“ и „*Вѣднѣсть не порокъ*“ выступаетъ передъ нами свѣтлая сторона жизни: поэтическіе обычаи и пѣсни народа, благодушныя семейныя отношенія, кроткое чувство любви, чувство примиренія и всепрощенія, порывы къ христіанской правдѣ и къ правдѣ и миру семейной жизни и честнаго труда.

Въ драмѣ „*Не такъ живи какъ хочется*“, высокой по замыслу, но къ сожалѣнію недозрѣвшей въ душѣ поэта, Островскій, глубоко всматриваясь въ народную жизнь, рисуетъ крайнія ея грани, высшее и низшее явленія: ея чувственный разгулъ и силу проникающаго и животворящаго ея религіознаго начала. Последнее, по взгляду поэта, пересиливаетъ разгулъ...

Иное говорятъ драмы „*Гроза*“ и „*Грѣхъ да бѣда на кого не живетъ*“, важныя произведенія перваго періода, захватывающія народную жизнь полно и глубоко, со всѣхъ ея сторонъ, въ отрицательныхъ и положительныхъ ея явленіяхъ. Поднимаясь здѣсь до объективности воззрѣнія, поэтъ проявляетъ, однако, свою личность въ безмолвномъ указаніи на трагическій характеръ выбраннаго имъ быта: въ обѣихъ пьесахъ энергическіе душой люди гибнутъ,—Катерина бросается въ Волгу, Красновъ убиваетъ жену. — Мы слышимъ какъ бы разочарованіе поэта въ состоятельности рисуемой имъ жизни...

Новую вспышку любви къ ней можно видѣть, однако, въ отрицательныхъ образахъ и сценахъ „*Востанницы*“, если сопоставить ихъ съ типами и сценами почти одновременно написанной „*Грозы*“: самодурство личнаго произвола помѣщицы Уланбековой несравненно возмутительнѣе самодурства Кабанихи, опирающагося

на принципы, какіе-бы то ни было, но все-таки принципы.

Если міръ барства является въ первомъ періодѣ лишь эпизодически, то міръ чиновниковъ изображёнъ полно и обстоятельно въ чудесныхъ комедіяхъ: „*Будная невеста*“ и „*Доходное мѣсто*“. Объективно и спокойно, гуманно, терпимо смотритъ Островскій на своихъ героевъ; но какъ истинный поэтъ съ высокимъ идеаломъ онъ изображаетъ слабость нравственныхъ устоевъ въ чиновничьемъ быту, силу въ немъ денежнаго интереса пренебреженіе къ человѣческой личности, слабохарактерность вращающихся въ немъ хорошихъ людей.

Весьма замѣчательны комедіи и сцены, въ которыхъ чиновничій міръ встрѣчается съ купеческимъ, ища покориться въ немъ, прямыми и не-прямыми путями. Въ піесахъ этого порядка мы встрѣчаемся съ двумя наиболѣ яркими по художественности изображенія и силѣ психологическаго анализа типами; это дикій, но благодушный самодуръ Титъ Титычъ Брусковъ (герой „*Тяжелыхъ дней*“ и „*Въ чужомъ пиру похмѣлье*“) и простодушный и безконечно глупый *Бальзаминовъ* (герой высоко-комической трилогіи). Комедіи: „*Пучина*“ и „*На бойкомъ мѣстѣ*“ представляютъ переходъ ко 2-му періоду, какъ бы служа выраженіемъ неудовлетворенности поэта изображаемымъ имъ до тѣхъ поръ бытомъ: хорошіе люди въ нихъ гибнутъ въ тинѣ мелочнаго эгоизма и мошенничества окружающихъ лицъ.

Во 2-ю эпоху своего творчества, отвернувшись отъ современности, Островскій ищетъ правды и истины въ прошломъ русской исторіи.

Въ поэтической хроникѣ „*Кузьма Захарычъ Мининъ Сухорукъ*“ поэтъ изображаетъ высшія начала народной жизни: горячую любовь къ родной землѣ, поддерживае-

мую высокимъ, сердечнымъ религіознымъ одушевленіемъ; аскетическіе порывы отъ земнаго нечистаго міра къ свѣту духовнаго идеала.—Но, какъ совершенная противоположность этой драмѣ, въ концѣ эпохи появляется драматическая сказка „*Синьгурочка*“, рисующая въ образахъ древняго языческаго міра чувственную стихію народной жизни, ту сторону быта, гдѣ человѣкъ грубо подчинилъ себя природѣ.

Середину между этими двумя полюсами народной дѣйствительности изображаетъ драма „*Воевода*“, представляя намъ обыденную жизнь древней Руси, его поэзію. удали, любви, поэтическихъ вѣрованій — съ одной стороны, грубость и безпощадность самодурства и эгоизма его сильныхъ людей — съ другой стороны.

Въ историческихъ хроникахъ: „*Дмитрій Самозванецъ и Василій Шуйскій*“, „*Тушино*“, „*Василиса Мелентьева*“—замѣчательно стремленіе поэта изобразить энергическихъ людей, найти крѣпкіе волей характеры въ нашей старой исторіи. Но замѣчательно также, что въ названныхъ драмахъ эти энергическіе люди (Людмила въ „*Тушинѣ*“, Самозванецъ, Василиса), всѣ они, независимо отъ ихъ нравственнаго достоинства, добрые и злые, гибнутъ въ окружающей ихъ жизни, въ исторической безурядицѣ. — Это опять какъ будто приводитъ Островскаго къ разочарованію... По крайней мѣрѣ мы видимъ новый поворотъ въ его творчествѣ.

Третій, или послѣдній, *періодъ* дѣятельности поэта ознаменовывается оригинальнымъ характеромъ. — Изъ подъ пера его выходятъ комедіи, рисующія въ противоположность прежнимъ, бытовымъ, *безпочвенные* слои общества. Таковы пьесы: „*Поздняя любовь*“, „*Невольницы*“, „*Трудовой хлѣбъ*“, „*Въшняя деньга*“, „*Волки и овцы*“, „*Безприданница*“, „*Сердце не камень*“, „*Не было ни гроши*

да вдругъ алтынъ“ и т. д.; герои ихъ: частные адвокаты, учителя, крупные дѣльцы, раззорившіеся дворяне, мелкіе чиновники, мелкое купечество, мѣщане... Русское общество холодно встрѣтило всѣ подобныя пьесы. Это объясняютъ обыкновенно блѣдностью въ нихъ очерковъ и красокъ; читатели и зрители помнили и помнятъ (говорятъ объяснители) первыя драмы Островскаго, гдѣ яркими и крупными чертами нарисованы яркіе типы... Но зачѣмъ винить поэта за слабость и блѣдность изображенія, когда блѣдна, плоска и безцвѣтна сама изображаемая имъ наша современная дѣйствительность! Поэтъ былъ только вѣренъ въ своихъ картинахъ правдѣ.

Да, съ другой стороны, въ самомъ ли дѣлѣ такъ блѣдны названныя пьесы?—Если всмотрѣться въ нихъ, то мы замѣтимъ чрезвычайно интересное и важное явленіе; это то, что на блѣдномъ, безцвѣтномъ фонѣ плоской сѣренькой жизни поэтъ рисуетъ намъ въ этихъ комедіяхъ крайнія проявленія добра и зла человѣческой души. Вѣрный своему высокому идеалу, онъ безтрепетно-смѣло изображаетъ самыя безнравственныя явленія жизни, и рядомъ съ этимъ — идеально-чистыя, безконечно-свѣтлыя личности. Таковы, напримѣръ, поэтическіе образы Вѣрочки въ „Шутникахъ“, Агніи Кругловой въ сценахъ „Не все коту масленица“; таковы: умный, прямой и любящій учитель Корпѣловъ въ „Трудовомъ хлѣбѣ“; недалекій, но идеально-правдивый Платонъ (въ „Правда хорошо, а счастье лучше“), Ксенія Васильевна Кочуева, женщина „не отъ міра сего“, не могущая примириться съ житейскою пошлостью, и другіе честные, чистые люди. И тутъ-же, вмѣстѣ съ этими лицами, отъ созерцанія которыхъ свѣтло становится на душѣ и на жизнь смотришь бодрѣ, поэтъ рисуетъ намъ такую грязь, такую засасывающую тину, отъ которыхъ за-

мреть сердце и станетъ страшно за человѣка: мы присутствуемъ при позорномъ униженіи человѣческаго достоинства изъ-за денегъ, мы видимъ притворную нищету, мелкое мошенничество, крайнюю глупость. („Не было ни гроша...“); безстыдное стремленіе къ роскоши, готовность всѣмъ пожертвовать для пріобрѣтенія богатства („Бѣшенныя деньги“, „Волки и овцы“); наглое и циническое волокитство за честной дѣвушкой („Безприданница“); безстыдную клевету изъ разчета („Сердце не камень“), и т. д. и т. д. — Нѣтъ, не безцвѣтны такія сочиненія, которыя, если только мы всмотримся и задумаемся въ нихъ, не смущаясь кажущеюся блѣдностью ихъ типовъ, могутъ волновать, могутъ глубоко потрясать душу!

Среди комедій послѣдняго періода особенный интересъ возбуждаютъ пьесы, изображающія театральнй міръ („Лясъ“, „Таланты и поклонники“, „Безъ вины виноваты“); присутствіе въ этомъ мірѣ искусства придаетъ его картинамъ яркую жизненную окраску. Въ этомъ мірѣ особенно оригинально встрѣчаются, сталкиваются противоположныя крайности, представители добра и зла, какъ напр. различные герои комедіи „Безъ вины виноваты“, или благородный трагикъ Несчастливцевъ и негодяй комикъ Счастливцевъ въ „Лясъ“.

Вѣрнымъ изобразителемъ нашей скорбной эпохи, глубокимъ сердцеѣдцемъ является Островскій въ послѣднемъ періодѣ своей дѣятельности. Въ его комедіяхъ какъ въ зеркалѣ отразилось наше безцвѣтное, холодное прозябаніе, при которомъ такой просторъ всякимъ безсердечнымъ дѣльцамъ, хищникамъ, алчущимъ наживы, и всякимъ развратникамъ. Но великая слава и великая честь чистому сердцу поэта за то, что, онъ не утратилъ вѣры въ родную страну, за то, что, озаряя дѣйствительность свѣтомъ своего идеала, онъ въ этой сухой и

грязной дѣйствительности сумѣлъ увидѣть людей идеально прекрасныхъ, и вмѣсто отчаянія далъ намъ надежду, показалъ живыми образами своего творчества, что не угасъ свѣтъ Божій во мракѣ и хаосѣ нашей жизни.

Изобразитель народнаго быта, его оригинальныхъ чертъ и особенностей, писатель, смотрящій на міръ съ народной точки зрѣнія, спокойно и благодушно, Островскій въ послѣднихъ пьесахъ своихъ поднялся выше, ушелъ въ ту заоблачную высь, въ то царство идеаловъ, изъ котораго жизнь представляется не просто спокойнымъ ходомъ событій, а извѣчной борьбою добра и зла, борьбою человѣческаго духа и матерьяльныхъ стремлений, Божіей правды и дьявольской злобы.—То-же глубокое проникновеніе въ тайну жизни мы видимъ и у Тургенева въ послѣдніе его годы. Тургеневъ также всей душой своей стоялъ на сторонѣ добра. Но, поэтъ страсти, сомнѣнія и огненныхъ увлеченій, не обладавшій гармоническимъ равновѣсіемъ душевныхъ силъ, онъ не могъ, какъ Островскій, спокойно повѣрить побѣдѣ правды надъ ложью, духа надъ грубыми матерьяльными порывами.— У Островскаго не было столько огня какъ у Пушкина, какъ у Тургенева, но — благодушная и спокойная — его поэзія успокоиваетъ душу, даетъ твердую устойчивость, нужную каждому изъ насъ въ каждомъ предстоящей великой жизненной драмѣ.

Сблизиться душою съ народомъ—значить встать на твердую почву. Народный поэтъ въ высочайшемъ и благороднѣйшемъ смыслѣ этого слова, Островскій ведетъ насъ къ народу. Но онъ не останавливается, однако, на его непосредственной жизни,—а указываетъ на его твердые нравственные устои лишь какъ на ту почву, опираясь на которую можно идти дальше въ человѣческомъ развитіи, въ вѣчномъ стремленіи души къ идеалу.

ГЛАВА II.

„Семейная картина“. — „Свои люди — сочтемся“.

Островскій — поэтъ народа и народныхъ началъ.... Отчего-же онъ, въ своемъ творествѣ, не остановился на изображеніи народа въ тѣсномъ смыслѣ слова, народной массы, крестьянства? отчего быть, выведенный имъ въ первыхъ пьесахъ на театральную сцену, — быть міра купеческаго?

На этотъ вопросъ можетъ быть два отвѣта. Одинъ уже данъ Апол. Григорьевымъ: въ нашемъ купеческомъ мірѣ, говорить критикъ поэта,

„дѣльнѣе удерживаются и яснѣе обозначаются типы общей, родовой національности, которой существенныя, коренныя черты одинаково общи всѣмъ слоямъ народа“ *).

Къ этому онъ прибавляетъ, что рѣзкое и опредѣленное выраженіе народныхъ стихій въ ихъ добрѣ и злѣ нашло себѣ мѣсто преимущественно въ купеческомъ бытѣ потому, что этимъ стихіямъ пришлось здѣсь столкнуться съ бытомъ другимъ, съ другими типами, понятіями, идеями, развившимися у насъ на Руси подъ иностранными вліяніями.

Другой отвѣтъ на вопросъ вытекаетъ изъ психологическихъ соображеній, приведенныхъ выше: Островскій

*) Соч. Апол. Григорьева, Спб. 1876 г. т. I, 120.

поэтъ народности, но не въ ея первоначальномъ выраженіи въ простонародныхъ массахъ, а въ томъ ея видѣ, въ какомъ она проявляется въ жизни нашего общества, не только въ столкновении, но уже и въ сліяніи съ началами иными, съ началами личнаго развитія.

Правда, эти личные начала не заключаются въ типахъ собственно-купеческаго міра; но этотъ міръ, народный по-преимуществу, столкнувшись въ нашей общественной жизни съ мірами иными, не только ярче выказалъ свои особенности, а и самъ подвергся измѣненіямъ: въ народной стихіи, какъ отличающейся именно полнотою и многосторонностью, заключены всѣ элементы духовной жизни, хотя и не въ ихъ обособленномъ, энергическомъ и страстномъ проявленіи, однако съ возможностью такого проявленія; и вотъ, подъ вліяніями иныхъ типовъ и иной жизни, въ купеческомъ мірѣ, изображаемомъ Островскимъ, начинаютъ развиваться эти стихіи духа и проявляться съ страстной энергіей въ такихъ, напр., личностяхъ, какъ Левъ Красновъ, Катерина („Грозы“), Любимъ Торцовъ...

Вотъ почему народный поэтъ нашего вѣка остановился первоначально на купеческомъ бытѣ.

Во всѣхъ, или почти во всѣхъ, бытовыхъ піесахъ Островскаго кромѣ купцовъ есть и лица другихъ сословій, состоящія съ первыми въ болѣе или менѣе близкихъ отношеніяхъ. Могутъ возразить, что эти лица другихъ сословій — все почти люди стоящіе на очень низкомъ уровнѣ умственнаго и нравственнаго развитія: неужели народная жизнь могла подвергнуться измѣненіямъ подъ вліяніемъ выгнанныхъ со службы пьяныхъ чиновниковъ Рисположенскихъ, или прокутившихся отставныхъ кавалеристовъ Вихоревыхъ?—Въ подобномъ возраженіи есть большая доля правды... но именно только доля, — ибо

купцы Островскаго встрѣчаются, кромѣ Расположенскихъ, Перцовыхъ, Вихоревыхъ и т. п. людей, еще съ Досужевymi, Ивановymi. Титъ Титычъ Брусковъ (въ комедіи „Въ чужомъ пиру похмѣлье“) сталъ благоговѣйно уважать учителя Иванова, когда понялъ его благородство. Дикіе и Кабанихи въ своемъ собственномъ кругу встрѣчаютъ самоучекъ Кулигиныхъ, которыхъ живо коснулось вѣяніе науки и литературы: съ жаромъ занимаясь механикой, Кулигинъ къ обстоятельствамъ жизни примѣняетъ стихи Ломоносова и Державина.

Критики, желающіе видѣть въ Островскомъ сатирика, обличителя „темнаго царства“, могутъ съ нѣкоторымъ, повидимому, правомъ указывать на „Семейную картину“ и комедію „Свои люди — сочтемся“, пьесы, которыми поэтъ началъ свою дѣятельность: здѣсь, дѣйствительно, являются передъ нами люди умственно и нравственно темные, самодуры и плуты.... Но отношеніе Островскаго къ нимъ, къ этимъ темнымъ героямъ, особенное и оригинальное: поэтъ рисуетъ ихъ совсѣмъ спокойно и безпристрастно; онъ выставляетъ на всенародныя очи, на позоръ ихъ темныя черты, всю со дна душъ ихъ поднятую мерзость; но онъ же подмѣчаетъ въ нихъ и слѣды добрыхъ свойствъ. Замѣчателенъ юморъ Островскаго: въ немъ нѣтъ страстнаго негодованія, но отъ поэта не укроется ни одна комическая черта человѣка, онъ заставитъ насъ посмѣяться здоровымъ смѣхомъ надо всѣмъ, что смѣшно и порочно. И особую бодрость вливаетъ въ душу этотъ совершенно спокойный смѣхъ: его спокойствіе и самоувѣренность ручаются за его могущество, за крѣпость нравственнаго идеала поэта, за его вѣру, что порокъ не есть самъ по себѣ сила и что передъ нимъ нечего смущаться.

Первая пьеса Островскаго — „Семейная картина“. Произведение это есть уже зрѣлое художественное созданіе: въ немъ передъ нами живыя лица. Но талантъ Островскаго еще не развернулся здѣсь въ полной силѣ; мы еще не видимъ въ этихъ сценахъ истинныхъ отношеній поэта къ избранному имъ для художественнаго воспроизведенія быту. — Островскій въ „Семейной картинѣ“ стоитъ на границѣ сатиры: онъ рисуетъ почти только темныя черты своихъ героевъ.

Передъ нами купецъ самодуръ — Антипъ Антипычъ Пузатовъ. — „Не обманешь — не продашь“ — девизъ его торговли. Съ простодушнымъ спокойствіемъ сообщаетъ онъ матери, между прочимъ, въ разговорѣ: „А я нынче, матушка, Брюхова-то рублей на тысячу оплелъ“ *). — „Ужъ гдѣ тебѣ, дитятко! Самого-то, чай, кругомъ обманываютъ“, замѣчаетъ на это болѣющая объ немъ сердцемъ мать. — Впрочемъ Пузатовъ знаетъ и совѣсть (по-своему): онъ осуждаетъ старика Ширялова, находя, что тотъ „ужъ больно плутъ“.

„Что говорить! (разсуждаетъ онъ). Отчего не надуть пріятеля, коли рука подойдет. Ничего. Можно. Да ужъ, матушка, иногда и совѣсть зазреть. (Чешетъ затылокъ). Право слово! И смертный часъ вспомнишь (Молчаніе). Я и самъ, коли гдѣ трафится, такъ не хуже его мину-то подведу. Да, вѣдь, я и скажу потомъ: вотъ, молъ, я тебя такъ и такъ, помазалъ маненько. Вотъ въ прошломъ году Савву Саввича, при расчетѣ, рубликовъ на пятьсотъ поддѣлъ. Да, вѣдь, я послѣ сказалъ ему: вотъ, молъ, Савва Саввичъ, промигалъ ты полтысячки, да ужъ теперь, братъ, поздно, говорю, а ты, молъ, не зѣвай. Посердился немножко, да и опять пріятеля. Что за важность!..“ (Соч. I т. 11 стр.).

Дѣло такое простое, обычное и пріятельское, что

*) Сочиненія Островскаго, изд. Н. Г. Мартынова, т. I, 1885 г., стр. 5. — Дальнѣйшія ссылки будутъ на то-же изданіе.

сами надуваемые не сердятся на надувателей и безъ всякой злобы отплатятъ имъ тѣмъ-же. — Антипъ Антипычъ находить даже своего рода юморъ, удовольствіе и увеселеніе въ обманѣ. „Вотъ смѣху-то было!“ говорить онъ про нѣмца-купца Карла Ивановича, котораго онъ „рубλικовъ на триста погрѣлъ“, не добавъ ихъ за забранные Матреной Савишной наряды. Почти художественно повѣствуетъ Антипъ Антипычъ, какъ „взбѣленился нѣмецъ“ и заявилъ:

Такъ, говорятъ, русскій купецъ дѣлаетъ, нѣмецъ никогда; я, говорить, въ судъ пойду. Вотъ и толкуй съ нимъ, словно больной съ подлекаремъ! (Смѣются). Поди, я говорю, —немного возьмешь! (I, 12).

На судѣ Антипъ Антипычъ, человѣкъ крѣпкій въ своихъ правилахъ, преспокойно отперся отъ долга, не обезпеченнаго векселемъ.

Ужъ что съ этимъ нѣмцемъ (продолжаетъ онъ свое повѣствованіе) смѣху было — бѣда! Такъ и таращится: это, говорить, безчестно! А я ему послѣ-то и говорю: я бы тебѣ и отдалъ Карлъ Ивановичъ, да деньги, говорю, братъ, нужны. Наши-то рядскіе животики надорвали со смѣху. (Смѣются). А то все ему отдать? да за что это? Нѣтъ, ужъ опосля честь будетъ.

Жену Пузатовъ любить (по-своему, какъ онъ понимаетъ чувство любви). „Что-жъ, ничего, пусть щеголяетъ!“ говорить онъ по поводу накупленныхъ Матреной Савишной тысячи на двѣ нарядовъ.

„Отчего-жъ и не нарядиться, коли есть во что? Ничего. Можно. Что за важность!—Да она у меня (хвалить онъ жену), какъ разрядится-то, такъ лучше всякой барыни, вальяжнѣе, ей Богу! Вѣдь тѣ все мелочь; съ позволенія сказать — взглянуть не на что нашему брату. А она-то у меня таки—тово.... То-есть, я... насчетъ тѣлеснаго сложенія. Ну, и все такое!

Ужъ ты, Антипъ Антипычъ, заврался, вается (скромно замѣчаетъ скромная Матрена Савишна).

И въ любви жены къ себѣ Антипъ Антипычъ увѣренъ:

„Чтобъ она меня, молодца такого, да промѣняла на кого-нибудь, красавца-то этакого!“

говорить онъ матери въ отвѣтъ на ея подозрѣніе, что наряды приведутъ Матрену Савишну къ мечтамъ, что мужъ-то у нея

„пузатый да бородастый такой, а не фертикъ дескать какой-нибудь раздушенный да распомаженный!“

„Ну-ка, Матрена Савишна, подалуйте-съ!“

спокойно обращается онъ къ женѣ.

Заходитъ рѣчь о замужествѣ Марьи Антиповны. „То-ли дѣло, Маша, купецъ-то хорошій,“ говоритъ мать.

„Знаешь-ли, Маша (добавляетъ Антипъ Антипычъ), гладкій да румяный, вотъ какъ я. Ужъ и любить-то есть кого, не то что — страбулистъ чахлый. Такъ-ли, Маша, а? (10).

Антипъ Антипычъ — простодушное животное, и на чувство смотреть по-животному.

Такъ-же смотреть на это и жена его Матрена Савишна. Она и золовка ея, Марья Антиповна, молоденькая дѣвушка 20 лѣтъ, завели себѣ обожателей изъ бѣдненькихъ мелкихъ чиновниковъ — Ивана Петровича и Василия Гаврилыча — и тайно ѣздить съ ними въ Останкино да въ Марьину рощу, захвативши съ собою мадеры и съѣстныхъ благъ. Иванъ Петровичъ мечтаетъ и о благахъ болѣе существенныхъ:

„съ чиновникомъ [говоритъ ему Василій Гаврилычъ] все можетъ случиться... зима... ну и шуба епотовая. Какъ ни-на-есть...“ (9).

Самъ Василій Гаврилычъ — въ положеніи худшемъ: онъ бы очень не прочь жениться на Марьѣ Антиповнѣ, но убѣжденъ, что это слишкомъ трудно: „не съ нашимъ рыломъ да въ калачный рядъ“, говоритъ онъ, „того-и-гляди, что за бородача за какого-нибудь выдадутъ.“ На счастье Матрены Савишны и Марьи Антиповны

обожатели ихъ оказываются не столько ловеласами, сколько бѣдняками, желающими покориться насчетъ чужаго „баловства“.—Марья Антиповна, впрочемъ, не сознаетъ всего ужаса подобныхъ свиданій, всей грязи ихъ; и у нея даже, по молодости лѣтъ, еще сохранились кое-какія юношескія идеальныя мечты: посылая, вмѣстѣ съ невѣсткой, служанку къ молодымъ людямъ условливаться о свиданіи, она велитъ имъ сказать:

„что принесите, молю, какихъ-нибудь книжекъ почитать; дескать, барышня проситъ.“ (3).

Это, однако, не мѣшаетъ ей высматривать въ окно проезжающихъ офицеровъ.

„Сестрица! сестрица! (кричитъ она) офицеръ ѣдетъ!... поскорѣй, сестрица!... съ бѣлымъ перомъ! (1).

Матрена Савишна бросается по этому призыву къ окну и отъ души, съ восторгомъ восклицаетъ: „Какой хорошенькій!“ Но тутъ-же, по опытности своей, предостерегаетъ золовку, что не надо офицера „пріучать“ ѣздить подъ окнами:

„Ужь я этихъ военныхъ-то знаю. Вонъ Анна Марковна пріучила гусара: онъ ѣздитъ мимо, а она поглядываетъ да улыбается. Что-жь, сударыня моя: онъ въ сѣни верхомъ и вѣхалъ.“ (1, 2).

Скромная и опытная Матрена Савишна умѣетъ провести мужа, притворно приласкавшись къ нему во-время, да пользуясь увѣренностью его въ неотразимой красотѣ своей упитанной фигуры. Но иногда она его и побавляется, тѣмъ болѣе, что онъ самодуръ не изъ послѣднихъ и любитъ иной разъ потѣшиться страхомъ домашнихъ. Ни съ того, ни съ другаго, сидя на диванѣ въ ожиданіи чая, онъ вдругъ грозно кричитъ, ударяя кулакомъ по столу:

Жена! поди сюда!... поди сюда, говорятъ тебѣ!

— Да что ты, очумѣлъ, что-ли?

Что я съ тобой исдѣлаю!

— Да что съ тобой, Антипъ Антипычъ? — (робко спрашиваетъ Матрена Савишна).

А! испугалась! (смѣется онъ). Нѣтъ, Матрена Савишна, это я такъ, — шутки шучу.

Впрочемъ, онъ серьезно-то не притѣсняетъ жену, — не даромъ его мать, Степанида Трофимовна, недовольна семейной жизнью сына:

Мы съ покойникомъ жили не вамъ чета (поучаетъ она Антипа Антипыча); гораздо-таки полюбовнѣе, да все-таки онъ меня въ страхъ держалъ, царство ему небесное! Какъ ни любилъ, какъ ни голубилъ, а въ спальнѣ на гвоздикѣ плетка висѣла про всякій случай. (I, 7).

Степанида Трофимовна — женщина такихъ-же возрѣній, какъ и ея сынокъ: плутни въ торговлѣ считаетъ она дѣломъ вполне естественнымъ и хорошимъ; нравъ у нея грубый, и она сама хвалится, что отъ 7 собакъ отгрызется. Но въ ея душѣ сохранились кое-какія преданія лучшей жизни: мы видѣли, что она полюбовно жила съ мужемъ; она недовольна праздностью сына:

торговлей не занимаешься (говоритъ она ему). Ужь какая это Антипушка, торговля! съ утра до вечера въ трактирѣ сидите, брюхо наливаете. Охъ, никакого-то, какъ посмотрю я, у васъ порядку нѣту. (I, 5).

У нея проявляется порою здравый взглядъ на жизнь: она подсмѣивается надъ выходомъ купчихъ замужъ за благородныхъ: „не садись не въ свои сани,“ говоритъ она.

Ужь будто, матушка, промежду благородныхъ-то и путныхъ нѣтъ совѣсьмъ? Нѣтъ, что-жъ, бываютъ. (Смѣется Антипъ Антипычъ).

Какъ, батюшка, не быть: во всякомъ сословіи есть (возражаетъ она). Да ужъ всякому свое. Отцы-то наши не хуже насъ были, да въ дворяне не лѣзли.... Эхъ, голубчикъ! хорошій-то который,

постепеннѣе, не возьметъ: тому надо мало-мало сотню тысячъ, а то двѣ, либо три: ну, а другіе, такъ хоть-бы ихъ и не было совсѣмъ. Только-что чванится собой да благородствомъ своимъ похваляется: „я-де благородный, а вы мужики“; а самъ-то вѣдь голь какая-нибудь, такъ, выжига, прости Господи! Знаю я ихъ“. (I, 9).

И она права, конечно: Василии Гаврилычи и Иваны Петровичи, Вихоревы и Баранчевскіе (въ „Саняхъ“) и другіе прогулявшіеся дворяне, ищущіе богатыхъ невѣстъ-купчихъ,—въ самомъ дѣлѣ голь и выжига.

Но вотъ и все доброе, что мы видимъ въ Степанидѣ Трофимовнѣ и вообще въ лицахъ первой пьесы Островскаго. Въ спокойныхъ и рельефно-художественныхъ образахъ ея передъ нами рисуется озаренная, осмѣянная здоровымъ, спокойнымъ юморомъ, животненная жизнь ожирѣвшихъ отъ праздности и довольства людей. Комедія оканчивается позорнымъ сватовствомъ сластолюбиваго старика-плута купца Ширялова за Марью Антиповну: Антипъ Антипычъ—не прочь выдать сестру за человѣка, про котораго самъ отзывался: „ужъ больно плутъ“; не прочь будетъ сдѣлаться женой Ширялова и сама Марья Антиповна, уже въ дѣвушкахъ научившаяся обманывать и заводить интриги. Да и мать будетъ согласна на этотъ бракъ.

„Что-жь, мы съ нашимъ удовольствіемъ! Ничего, можно-съ! (эффектно оканчиваетъ пьесу Антипъ Антипычъ). Только, Парамонъ Ферапонтычъ, насчетъ приданого-то кто кого обманетъ — дѣло темное-съ! Мы тоже съ матушкой-то на свою руку охулки не положимъ! (I, 22).

Гораздо выше поднялся поэтъ въ художественной силѣ изображенія жизни и въ широтѣ взгляда на нее во второй своей комедіи: „Свои люди — сочтемся“. — Здѣсь купеческій бытъ представленъ въ его соприкосно-

веніи, во 1-хъ, съ внѣшней и ложной стороной образованной жизни; во 2-хъ, съ мелкимъ чиновничествомъ, промышляющимъ плутнями. Народный бытъ сопоставленъ съ вліяющими на него и разлагающими его подонками цивилизаціи.

Прямо противоположны другъ другу двѣ женскихъ личности комедіи—мать и дочь, Аграфена Кондратьевна и Олимпіада Самсоновна, или Липочка. Первая — глуповатая, но добрая старуха, живущая, думающая и чувствующая по-старинѣ; вторая — по-модному образованная, умѣющая танцевать, знающая двѣ-три французскихъ фразы, „подражающая всякой модѣ“ купеческая барышня на новый ладъ.

Середину между ними, представительницами стараго и новаго въ жизни, занимають Самсонъ Силычъ Большовъ и Лазарь Елизарычъ Подхалюзинъ. Первый тяготеетъ больше къ старинѣ, второй—къ новизнѣ и модному образованію.

Яркими комическими чертами обрисоваль поэтъ Липочку Большову.

„Какое пріятное занятіе эти танцы! Вѣдь ужъ какъ хорошо!
Что можетъ быть восхитительнѣе?“ (I, 23)

разсуждаетъ она сама съ собою, мечтая о томъ главномъ знаніи, которое она усвоила изъ европейской цивилизаціи, учась въ пансіонѣ. И не даромъ поэтъ началъ очеркъ своей героини съ этого знанія: не она одна, а и дѣвушки умнѣе ея, дѣвушки образованнаго общества, донынѣ пребываютъ въ упоеніи отъ танцевъ.

То-ли дѣло отличатся съ военными! (продолжаетъ Липочка).
Ахъ, прелесть! восхищеніе! И усы, и эполеты, и мундиръ, а у иныхъ даже шпоры съ колокольчиками. Одно убійственно, что сабли нѣтъ! И для чего они ее отвязываютъ? Странно, ей Богу! Сами не понимаютъ, какъ блеснуть очаровательнѣе! (24).

Считая себя просвѣщенной, Липочка свободна отъ „предразсудковъ“:

Отчего это не учиться танцовать! Это одно только суевѣріе! (говорить она). Вотъ, маменька, бывало, сердится, что учитель все за кофѣйки хватаетъ. Все это отъ необразованія! Что за важность! Онъ танцмейстеръ, а не кто-нибудь другой.

И не только отъ подобнаго „предразсудка“, Липочка свободна и отъ всѣхъ другихъ предразсудковъ и „суевѣрій“, къ числу которыхъ она относитъ: стыдъ, уваженіе и любовь къ родителямъ, человѣколюбіе и т. п. устарѣлыя (по ея мнѣнію) чувства и понятія.

Невѣжественная Марья Антиповна въ „Семейной картинѣ“ еще не утратила стыда: когда братъ начинаетъ разъяснять ей, что гораздо пріятнѣе выдти за купца, чѣмъ за благороднаго,—„вѣдь купецъ лучше, а? (говорить Антипъ Антипычъ)... ужъ и приласкать есть кого“,—она убѣгаетъ;

„Стыдно стало, Антипушка: дѣло дѣвичье“ (поясняетъ мать).

Олимпіадѣ Самсоновнѣ стыдно не станетъ; она находитъ, что стыдиться стыдно.

Мнѣ мужа надобно! (кричитъ она матери). Что это такое! Страмъ встрѣчаться съ знакомыми: въ цѣлой Москвѣ не могли выбрать жениха—все другимъ да другимъ. Кого не задѣнетъ за живое: всѣ подружки съ мужьями давно, а я словно сирота какая! Отыскался вотъ одинъ, такъ и тому отказали. Слышите, найдите мнѣ жениха, безпремѣнно найдите!... Впередъ вамъ говорю, безпремѣнно сыщите, а то для васъ же будетъ хуже: нарочно, вамъ на зло, по секрету заведу обожателя, съ гусаромъ убѣгу, да и обвинчаемся потихоньку.

„Какіе у тебя тамъ гусары, безстыжій твой носъ! Тьфу ты, дьявольское навожденіе!“ (кричитъ на нее мать). (27).

Зная нравъ и наклонности своей барышни, Ѳомишница простодушно грубо проситъ сваху:

Ужь порѣши ты ея нужду, Устинья Наумовна! Ишь ты, дѣвка-то измаялась совсѣмъ; да вѣдь ужъ и время, матушка..... Я по тринадцатому году замужъ шла, а ей вотъ черезъ мѣсяцъ девятнадцатый годокъ минеть. Что томить-то ее понапрасну! Другія въ ея пору давно ужъ дѣтей повывели. То-то, мать моя, что-жь ее томить-то! (57).

На окрики, на наставленія, точно такъ-же какъ и на ласки матери Липочка не обращаетъ никакого вниманія.

„Только и ладите, что отца да отца (говорить она матери, сознающей, что не можетъ сладить съ дочкой); бойки вы при немъ разговаривать-то, а попробуйте-ка сами!“

„Ужь молчали-бы лучше, коли не такъ воспитаны (прибавляетъ она въ дальнѣйшемъ теченіи разговора). Все я скверна, а сами-то вы каковы послѣ этого? Что, вамъ угодно спровадить меня на тотъ свѣтъ прежде времени? извести своими капризами! (Плачетъ). Что-же, пожалуй, я ужъ и такъ, какъ муха какая, капляю! (Плачетъ). (27 — 28).

Точно также не уважаетъ Липочка и отца: „вамъ съ тятенькой только кляузы строить, да тиранничать“, говорить она матери по поводу отказа жениху-вертопраху изъ благородныхъ.—Принаряженная для жениха (въ 3 актѣ комедіи), Липочка и нарядомъ своимъ, и тѣмъ, что становится невѣстой, растрогиваетъ сердце матери Аграфена Кондратьевна начинаетъ ласкать ее (правда, очень комически), приговаривать:

„Присядь, Липочка, присядь, душечка, ненаглядная моя сокровища!“

а та огрызается:

Ахъ, отстаньте, маменька! измаяли совсѣмъ.

— Ну, такъ я на тебя издальки посмотрю!

Пожалуй, смотрите, да только не фантазируйте! Фи, маменька, нельзя одѣться порядочно: „вы тотчасъ разчувствуетесь“. (73)-

Сначала негодуя на Подхалюзина, какъ онъ, приказчикъ и необразованный, „мужикъ“, смѣетъ свататься за нее, Липочка очень скоро примиряется съ нимъ, когда тотъ сумѣлъ понять ея вкусы и практически разъяснить ей, что она будетъ жить за нимъ въ свое удовольствіе. И примирившись, она сейчасъ-же начинаетъ жаловаться ему на родителей. Особенно комично ея негодующее восклицаніе, когда Подхалюзинъ сообщилъ ей, что денегъ у Самсона Силыча нѣтъ:

Что-жь это такое со мной дѣлаютъ? Воспитывали, воспитывали, потомъ и обанкротились!

Наивный взрывъ беззащитнаго и чисто животнаго эгоизма!

Безсердечіе Олимпіады Самсоновны выразилось въ концѣ комедіи въ отношеніяхъ къ посаженному въ долговое отдѣленіе отцу. — Когда Большовъ, отпущенный на-время изъ „ямы“, посѣтилъ зятя и дочку, Аграфена Кондратьевна расплакалась надъ нимъ.

„Что это вы, маменька, точно по покойникѣ плачете! Не Богъ знаетъ что случилось“ (77).

оговорила ее образованная дочка. — А когда Большовъ сталъ уговаривать Подхалюзина заплатить кредиторамъ, она грубо и рѣзко обратилась къ отцу со словами:

Я у васъ, тятенька, до 20 лѣтъ жила—свѣта не видала. Что-жь мнѣ прикажете отдать вамъ деньги, да самой опять въ ситцевыхъ платьяхъ ходить?

а потомъ пытается закончить разговоръ о деньгахъ рѣшительнымъ заявленіемъ:

Мы, тятенька, сказали вамъ, что больше 10 копѣекъ дать не можемъ—и толковать объ этомъ нечего. (101).

Мужъ ея, Лазарь Подхалюзинъ, оказывается гораздо мягче ея сердцемъ и человѣколюбивѣе.

Аграфена Кондратьевна — прямо противоположна своей дочкѣ. Это женщина глупая и смѣшная, но добрая и сердечная.

Она грозитъ Липочкѣ, что пошлетъ ее на кухню горшки парить, что нажалуется отцу за то, что та пляшетъ, „озарничаетъ“ ногами „ни свѣтъ, ни заря, не поѣмши хлѣба Божьяго“, да грубитъ матери; но угрозы эти—только желаніе соблюсти форму, поддержать хоть внѣшнимъ образомъ родительскій авторитетъ; на самомъ дѣлѣ ей жаль дочку,—жаль и потому что жениха до сихъ поръ нѣтъ, и потому даже, что Липочка устала, кружившись по комнатѣ; когда Липочка расплакалась, Аграфена Кондратьевна плачетъ тоже, сама-не-своя отъ огорченія, и смиренно говоритъ дочкѣ:

Липочка! Липа! Ну, будетъ! ну, перестань! (Сквозь слезы) Ну, не сердись ты на меня... (плачетъ)... бабу глупую... неученую... Ну, прости ты меня... сережки куплю...

Мы видѣли уже комизмъ сцены, гдѣ Аграфена Кондратьевна рыдаетъ надъ разряженной дочкой, потому что ждуть жениха; теперь прибавимъ, что сцена эта, комичная съ одной стороны, съ другой стороны—трогательна; особенно замѣчательно ея чисто эпическое окончаніе: причитанія Аграфены Кондратьевны почти переходятъ въ народную пѣсню:

ростили, ростили, да и вырастили—да ни съ того, ни съ сего въ чужіе люди отдаемъ, словно ты надобла намъ да наскучила глупымъ малымъ ребячествомъ, своимъ кроткимъ поведеніемъ. Вотъ, выживемъ тебя изъ дому, словно врага изъ города, а тамъ схватимся да спохватимся, да и негдѣ взять. Посудите, люди добрые, каково жить въ чужой дальней сторонѣ, чужимъ кускомъ да вишься, кулакомъ слезы утираючи! Да, помилуй Богъ, неровнюшка выйдется, не ровень дуракъ навяжется, ахъ дуракъ какой—дурацкій сынъ! (Плачетъ).

А объ чемъ бы ты это, слышно, разрюмилась? (спрашиваетъ Большовъ). Вотъ спросить тебя, такъ и сама не знаешь.

„Не знаю, батюшка, охъ, не знаю; такой стихъ нашелъ“ (со-
знается она).

То-то вотъ сдуру. Слезы у васъ дешевы.

„Охъ, дешевы, батюшка, дешевы! и сама знаю, что дешевы,
да что-жъ дѣлать-то? (74).

Добрая и смиренная, Аграфена Кондратьевна способна, однако, упрекать мужа въ глаза, если заподозрить въ немъ недостатокъ любви къ дочери. Но обыкновенно она преклоняется передъ нимъ и уважаетъ его авторитетъ. Когда Олимпиада Самсоновна согласилась на бракъ съ Подхалюзинимъ, Аграфена Кондратьевна начавшая-было беспокоиться о судьбѣ своего дѣтища, успокоилась и обрадовалась:

„Ахъ, ненаглядная ты моя!“.

воскликаетъ она, и тутъ-же прибавляетъ:

„Вотъ то-то-же, дурочка! Ужь отецъ тебѣ худа не пожелаетъ. (87—88).

Когда Самсона Силыча посадили въ яму. Аграфена Кондратьевна „вся измаялась“ (по ея выраженію) въ тоскѣ по немъ, Она его любитъ, искренно и неліце-мѣрно. „Голубчикъ ты мой, Самсонъ Силычъ, золотой ты мой!“ (причитаетъ она, когда Большовъ зашелъ къ зятю изъ „ямы“). „Оставилъ ты меня сиротой на старости лѣтъ!“ Живя у зятя и у безсердечной дочки, завися отъ нихъ, она не боится и не задумывается въ глаза упрекать ихъ и проклинать за мужа:

„Варваръ ты, варваръ! (говоритъ она Лазарю, отказывающемуся платить кредиторамъ 25 процентовъ). Разбойникъ ты этакой! Нѣтъ тебѣ моего благословенія! Изсохнешь вѣдь и съ деньгами-то, изсохнешь, не доживя вѣку. Разбойникъ ты этакой, разбойникъ!“ (102).

Самсона Силыча *Большова* обыкновенно считают однимъ изъ наиболѣе типичныхъ самодуровъ; но едва-ли это вполне вѣрно. Самодуръ онъ, конечно, несомнѣнный; но это далеко не то, что Гордѣй Карпычъ Торцовъ, или Титъ Титычъ, или (тѣмъ болѣе) Дикой. — Онъ способенъ и самовольствовать надъ домашними, и объявиться по капризу несостоятельнымъ должникомъ; но у него это дѣлается не такъ-то легко и не совсѣмъ безъ удержу и разсужденія.

Изъ словъ и дѣйствій лицъ, окружающихъ Большова, мы знаемъ, что онъ бываетъ буенъ во хмѣлю.

„Ужъ мы отъ него страсти-то видали! (повѣтствуетъ Омишна сважъ Устинъ Наумовъ). Вотъ на прошлой недѣлѣ ночью пьяный прѣхалъ: развоевался такъ, что на поди. Страсти, да и только! Посуду колотить... „У!“ говорить, „такія вы и такія убью сразу!“

Почудилось домашнимъ, что онъ прѣхалъ выпивши, и всѣ забѣгали въ страхъ, и двери отъ него запирають, и черезъ запертыя двери кротко уговаривають его: „поди, батюшка, поди, усни, Христось съ тобой!“ — Высказываемые имъ самимъ взгляды на семейныя отношенія — взгляды дикіе. Когда Подхалюзинъ выражаетъ сомнѣніе — захочетъ ли на него и глядѣть-то Олимпіада Самсоновна, Большовъ возражаетъ:

Важное дѣло! Не плясать же мнѣ по ея дудочкѣ на старости лѣтъ. За кого велю, за того и пойду. Мое дѣтище: хочу съ кашей ѣмъ, хочу масло пахтаю. Ты со мной-то толкуй (70).

Когда Олимпіада Самсоновна отказывается сѣсть рядомъ съ предназначаемымъ ей въ женихи Подхалюзинымъ онъ говоритъ дочери:

А не сядешь, такъ насильно посажу, да заставлю жеманиться... Молчи, лучше! Велю такъ и за дворника выйдешь. (81).

„Захотѣлъ выдать дочь за прикащика (прибавляетъ онъ, обращаясь къ женѣ), — и поставлю на своемъ, и разговаривать не смѣй; я и знать никого не хочу. (82).

Жену онъ ставитъ ни-во-что и находитъ лишнимъ спрашивать ея согласія или мнѣнія въ дѣлѣ замужества дочери: „знай сверчокъ свой шестокъ!“ Не твое дѣло!“ кричитъ онъ на Аграфену Кондратьевну, вздумавшую было возражать на его приказъ дочери, на его слова: „На что-жь я и отецъ, коли не приказывать? Даромъ что-ли я ее кормилъ?“

Но, буйный въ минуты загуловъ, онъ вовсе не таковъ въ другое время, въ обычномъ теченіи жизни; и жена и дочь вовсе передъ нимъ не безмолвны: дочь преспокойно, только немножко конфузясь, проситъ его, чтобы онъ нашелъ ей жениха изъ военныхъ; а жена упрекаетъ его за недостатокъ любви къ дѣтишцу, и упрекаетъ словами довольно рѣзкими. Эта сцена упрековъ такъ характерна, такъ обрисовываетъ и самого Большова съ его презрѣніемъ къ женскому полу и въ то-же время съ любовью къ дочери, что ее слѣдуетъ припомнить:

Аграфена Кондратьевна. Да приголубь ребенка-то, что какъ медвѣдь бурчишь!

Большовъ. А какъ мнѣ еще приголубивать-то? Ручки что-ль лизать, въ ножки кланяться? Во какая невидаль! Видали мы и понаряднѣе.

Авр. Кондр. Да ты что видалъ-то? Такъ что-нибудь. А вѣдь это дочь твоя, дитя кровная, каменный ты человекъ!

Большовъ. Что-жь, что дочь? Слава Богу, обута, одѣта, накормлена; чего ей еще хочется?

Авр. Кондр. Чего хочется! Да ты, Самсонъ Силичъ, очумѣлъ что-ли? Накормлена! Мало-ли что накормлена! По христіанскому закону всякаго накормить слѣдствуетъ; и чужихъ призирають, не токма что своихъ—а вѣдь это и въ люди сказать грѣхъ: какъ ни на есть родная дѣтища!

Большовъ. Знаемъ, что родная, да чего-жъ ей еще? Что ты мнѣ притчи эти растолковываешь? Не въ рамку же ее вдѣлать! Понимаемъ, что отецъ.

Авр. Кондр. Да коли ужъ ты, батюшка, отецъ, такъ не будь свекоромъ! Пора, кажется, въ чувство придти: разставаться скоро приходится, а ты и добраго слова не вымолвишь; долженъ бы на пользу посовѣтовать что-нибудь такое житейское. Нѣтъ въ тебѣ никакого обычая родительскаго!

Большовъ. А нѣтъ, такъ что-жъ за бѣда; стало быть, такъ Богъ создалъ.

Авр. Кондр. Богъ создалъ! Да самъ-то ты что? Вѣдь и она, кажется, созданіа божеская, али нѣтъ? Не животная какая-нибудь, прости Господь!... Да спроси у нея что-нибудь.

Большовъ. А что я за спрость? Гусь свинѣ не товарищъ: какъ хотите, такъ и дѣлайте.

Авр. Кондр. Да на дѣлѣ-то ужъ не спросимъ, — ты поведовато вотъ. Человѣкъ пріѣдетъ чужой-посторонній, все-таки, какъ хочешь примѣривай, а мужчина не женщина — въ первый-то разъ найдетъ, невидамши-то его.

Большовъ. Сказано, что отстань!

Авр. Кондр. Отецъ ты этакой, а еще родной называешься! Ахъ ты, дитятка моя заброшенная, стоишь словно какая сиротинушка, приклонивши головушку. Отступились отъ тебя, да и знать не хотять. (I, 72—73).

По самодурству, также отчасти изъ лѣности, отчасти и самъ не зная почему, Большовъ задумываетъ объявиться несостоятельнымъ должникомъ. Впрочемъ, въ этомъ замыслѣ играетъ большую роль Ресположенскій, подзадоривающій Самсона Силыча, чтобы самому покориться около этого дѣла, заработать копѣйку.

„То-то вотъ вы подлый народъ такой, кровопійцы какіе-то (говорить ему Большовъ): только-бъ вамъ пронюхать что-нибудь этакое, такъ ужъ вы вьетесь тутъ съ вашимъ дьявольскимъ наущеніемъ.

Сысой Псойчъ возражаетъ на это, что онъ глупъ для наущеній, что Самсонъ Силычъ самъ, можетъ быть, въ

10 разъ его умнѣе, и т. д. Но Большовъ смотритъ (и справедливо) иначе:

То-то вотъ и бѣда (говоритъ онъ), что нашъ братъ купецъ дуракъ, ничего онъ не понимаетъ, а такимъ пивкамъ какъ ты это и на-руку. (40).

И въ самомъ дѣлѣ, тотчасъ-же, какъ бы въ подтвержденіе этихъ словъ, Рисположенскій начинаетъ успокаивать Большова:

Что-же, Самсонъ Силычъ, не вы первый, не вы послѣдній; нешто другіе-то не дѣлаютъ.

Аргументъ весьма соблазнительный, и Большовъ на немъ начинаетъ строить оправданія передъ своею совѣстью. Совѣсть у него еще есть, и болѣе чуткая, чѣмъ у Рисположенскаго.

Какъ не дѣлать, братъ, и другіе дѣлаютъ (говоритъ онъ). Да еще какъ дѣлаютъ-то—безъ стыда, безъ совѣсти! На лежачихъ ресорахъ ѣздятъ, въ трехъ-этажныхъ домахъ живутъ... Да еще и обманетъ-то кого: такъ бѣдняковъ какихъ-нибудь, пустить въ одной рубашкѣ по-міру. А у меня кредиторы всѣ люди богатые, что имъ сдѣлается! (40).

За первымъ самооправданіемъ слѣдуетъ рядъ другихъ, еще менѣе основательныхъ:

Тамъ что хошь говори, а у меня дочь невѣста (размышляетъ Большовъ), хоть сейчасъ изъ полы въ полу да со двора долой. Да и самому-то, братецъ ты мой, отдохнуть пора.

Въ слѣдующемъ затѣмъ разговорѣ съ Подхалюзинымъ объ обмѣриваніи покупателей Большовъ продолжаетъ нить своихъ размышленій:

Чай, братъ, знаешь, какъ нѣмцы въ магазинахъ нашихъ баръбираютъ. Положимъ, что мы не нѣмцы, а христіане православные, да тоже пироги-то съ начинкой ѣдимъ. Такъ-ли, а?

Затѣмъ слѣдуютъ соображенія, что все-равно портной украдетъ изъ купленнаго сукна, что „плохи нынѣ барыши:

не прежнія времена“ и т. д. и т. д. И Самсонъ Силычъ налаживаетъ себя на спокойную рѣшимость не платить кредиторамъ полностью да и все тутъ; имъ овладѣваетъ даже особаго рода самодурная и безчестная удаля, когда Лазарь совѣтуетъ вмѣсто 25 процентовъ совсѣмъ ничего не платить:

Этакъ-то лучше! (восклицаетъ онъ). Чорта-ли тамъ по грошамъ наживать! Махнулъ сразу, да и шабашъ. Только напусти Богъ смѣлости. Спасибо тебѣ, Лазарь, удружилъ! (I, 49).

Замѣчательно это циническое обращеніе къ Богу, и еще болѣе замѣчательна наглая иронія цинизма въ словахъ:

Тамъ посѣди суди Владыка на второмъ пришествіи! (I, 48).

И въ это самое время развитія въ душѣ подобныхъ мыслей и чувствъ Большовъ, по изумительной, почти тупоумной наивности, выражаетъ негодованіе на другихъ несостоятельныхъ должниковъ, о которыхъ только что прочиталъ въ газетѣ:

И Богу-то угодить на чужой счетъ норовать (говорить онъ Лазарю). Ты, братъ, степенству-то этому не вѣрь! Этотъ народъ одной рукой крестится, а другой въ чужую пазуху лѣзетъ (45).

Рѣшившись на обманъ и успокоивъ свою совѣсть, Большовъ уже считаетъ себя правымъ, скрытыя деньги признаетъ своею неотъемлемою собственностью, и даже самодурно-наивно начинаетъ называть ихъ честно-нажитымъ своимъ добромъ. Просватавъ дочь за помогавшаго ему плутовать Лазаря, онъ впадаетъ въ чувство великодушія, и глупо растроганный, заявляетъ:

Да что тутъ разговаривать-то. На милость суда нѣтъ. Бери все, только насъ со старухой корми, да кредиторамъ заплати копѣекъ по десяти.

Интересно здѣсь наивное противорѣчіе, наивно-добродушная довѣрчивость и несообразительность: вѣряя обманомъ нажитое плуту Лазарю, онъ и не думаетъ, что этотъ плутъ обманетъ и его. Нельзя не согласиться съ собственнымъ соображеніемъ Большова, что самодурство и глупость тѣсно между собою связаны.

Самсонъ Силычъ успокоилъ свою совѣсть; но не даромъ она все-таки еще была у него и долго его смущала въ задуманномъ дѣлѣ. Наткнувшись на большаго плута, чѣмъ самъ, посаженный въ „яму“, онъ очнулся, очувствовался. Въ немъ проснулись и сердце, и разумъ. Другимъ человѣкомъ является онъ въ послѣднемъ актѣ комедіи. Ему людей стыдно и страшно передъ Божьимъ грозящимъ судомъ.

А вы подумайте, каково мнѣ теперь въ яму-то идти (говорить онъ роднымъ). Что-же мнѣ зажмуриться что-ли? Мнѣ Ильинка-то теперь за сто верстъ покажется. Вы подумайте только, каково по Ильинкѣ-то идти. Это все равно, что грѣшную душу дьяволы, прости Господи, по мытарствамъ тащатъ. А тамъ мимо Иверской: какъ мнѣ взглянуть-то на Нее, на Матушку?... Знаешь, Лазарь, Іуда, вѣдь онъ тоже Христа за деньги продалъ, какъ мы совѣсть за деньги продаемъ... А что ему за это было?... А тамъ Присутственные мѣста, Уголовная палата... Вѣдь я злостный — умышленный... Вѣдь меня въ Сибирь сошлютъ. Господи!.. Коли такъ не дадите денегъ, дайте Христа-ради. (Плачетъ).

Эти слова возбуждаютъ сочувствіе къ Большову не только какъ къ страдающему человѣку, но и какъ къ человѣку, у котораго проснулась совѣсть. Добролюбовъ говоритъ, что это не такъ, что въ приведенномъ монологѣ Большова совѣсть нѣтъ самосознанія, что старикъ только боится Сибири да непріятно ему, что на него будутъ пальцами показывать; онъ ни одного слова не промолвилъ о людяхъ, пострадавшихъ отъ его обмана. Соображеніе критика на первый взглядъ кажется очень

основательнымъ; но въ-сущности оно невѣрно: мысль о пострадавшихъ подразумевается сама собою въ словахъ Большова: не только теперь, очнувшись, но и прежде, только что задумывая обманъ, Самсонъ Силычъ, какъ мы видѣли, успокаивалъ себя соображеніемъ, что кредиторы его—люди богатые, что онъ не бѣдняковъ какихъ-нибудь обманетъ.

Плутъ на старый ладъ, Большовъ въ комедіи стоитъ нравственно выше беззастѣнчиваго плута на ладъ новый—хватившаго верхушекъ образованія Лазаря Елизарыча *Подхалюзина*.

Подхалюзинъ съ дѣтства служить у Большова, и въ дѣтствѣ еще былъ замѣченъ, что на руку нечистъ; потому онъ въ совершенствѣ изучилъ искусство обмѣривать и обманывать покупателей. Сдѣлавшись старшимъ прикащикомъ, онъ старается, чтобы въ лавкѣ все было въ порядкѣ и „какъ слѣдуетъ“, и учить торговать другихъ прикащиковъ:

Вы, говорю (даетъ онъ отчетъ хозяину о своихъ дѣйствіяхъ), ребята, не зѣвайте: видишь, чуть дѣло подходящее, покупатель что-ли тумакъ какой подвернулся, али цвѣтъ съ узоромъ какой барышнѣ понравился, взялъ, говорю, да и накинулъ рубль али два на аршинъ...

И мѣрить-то, говорю, надо тоже поестественнѣе: тани да потягивай, только чтобы, Боже сохрани, какъ не лопнуло: вѣдь не намъ, говорю, послѣ носить. Ну, а зазѣваются, такъ никто виновать, можно, говорю, и просто черезъ руку лишній разъ аршинъ шмыгнуть. (44).

Когда Самсонъ Силычъ задумалъ большую плутню, онъ въ Лазарѣ нашелъ не только помощника, но и сочувствующаго своему замыслу человѣка. Совѣсть у Подхалюзина болѣе сговорчивая,—и онъ подаетъ Большову совѣтъ, что коли платить кредиторамъ по 25%, то пристойнѣе совсѣмъ не платить.—Онъ притворяется передъ

хозяиномъ любящимъ его человѣкомъ, разыгрываетъ цѣлую комедію, со слезами и выраженіями своего смиренія; а на самомъ дѣлѣ задумываетъ устроить свою судьбу и свое счастье на почвѣ хозяйскаго обманнаго дѣла; онъ хочетъ, войдя въ довѣренность Большова и помогая ему, ставши ему необходимымъ и поставивъ его въ зависимость отъ себя, пріобрѣсти капиталъ и жениться на хозяйской дочери: онъ влюбленъ въ Олимпиаду Самсонову.

У Подхалюзина тоже есть кое-какая совѣсть; но онъ быстро сладилъ съ нею и успокоилъ ея угрызения.

Говорятъ, надо совѣсть знать! (разсуждаетъ онъ самъ съ собою). Да известное дѣло, надо совѣсть знать, да въ какомъ это смыслѣ понимать нужно? Противъ хорошаго человѣка у всякаго есть совѣсть; а коли онъ самъ другихъ обманываетъ, такъ какая-же тутъ совѣсть! Самсонъ Силычъ купецъ богатѣйшій, и теперича все это дѣло, можно сказать, такъ для препровожденія времени затѣялъ. А я человѣкъ бѣдный! Если и попользуюсь въ этомъ дѣлѣ чѣмъ-нибудь, такъ и грѣха нѣтъ никакого; потому онъ самъ несправедливо поступаетъ, противъ закона идетъ. А мнѣ что его жалѣть. Вышла линія—ну и не плошай: онъ свою политику ведетъ, а ты свою статью гони. Еще то-ли бы я съ нимъ сдѣлалъ, да неприходится. Хмъ! Вѣдь заѣздетъ же такая фантазія въ голову человѣку! (Лазарь разумѣетъ свое увлеченіе Олимпиадой Самсоновой).

Владѣющій собою, сдержанный, умный, энергичный, Лазарь ловко повелъ свое дѣло. Онъ подкупаетъ въ свою пользу Рисположенскаго, обѣщая ему вдвое болѣе, чѣмъ Большовъ; подкупаетъ сваху, чтобы отдѣлаться отъ предлагаемаго ею жениха; искусно располагаетъ въ свою пользу самого Самсона Силыча на основаніи изученія его характера:

У нихъ такое заведеніе (разсуждаетъ онъ про хозяина): коли имъ что попадетъ въ голову, ужъ ничѣмъ не выбьешь оттедова. Все равно какъ въ четвертомъ году захотѣли бороду сбрить: сколько ни про-

силы Аграфена Кондратьевна, сколько ни плакали,—нѣтъ, говорить, послѣ опять отпущу, а теперь поставлю на своемъ; взяли да и обрили. Такъ вотъ и это дѣло; потрафъ я по нимъ, или такъ войди имъ въ голову — завтра-же подъ вѣнецъ, и баста, и разговаривать не смѣй. Да отъ этакова удовольствія съ Ивана Великаго спрыгнуть можно! (52).

Когда Олимпіада Самсоновна начинаетъ заявлять ему свое пренебреженіе, Подхалюзинъ ловкимъ замѣчаніемъ— „видно не бывать, тятенька, по вашему желанію“ — разжигаетъ упрямство и самолюбіе Большова; ласковымъ словомъ „маменька“, ласковыми обѣщаніями: „вамъ такого зятя, который-бы васъ уважалъ и, значить, старость вашу покоилъ—окромя меня не найдетъ-съ“, полу-притворными, полу-искренними слезами ублажаетъ Аграфену Кондратьевну,—и выигрываетъ дѣло. Успокоить и расположить въ свою пользу Олимпіаду Самсоновну уже гораздо проще.

Полуискренними слезами... Да, этотъ сознательный плутъ, изъ всего умѣющій извлечь для себя пользу, Лазарь Подхалюзинъ—не лишень искры человѣческаго живаго чувства: онъ любитъ Олимпіаду Самсоновну, любитъ искренно и сильно. И вотъ почему въ его дѣйствіяхъ относительно Большова мы видимъ смѣсь хитраго и холоднаго разсчета съ искренними сердечными побужденіями, смѣсь сознательныхъ дѣйствій съ безсознательными: конечно, онъ лжетъ, распространяясь о своей любви и преданности къ хозяину, но онъ лжетъ не вполне: въ Большовѣ онъ видитъ не только хозяина, но и отца своей будущей жены и не совсѣмъ лицемѣрно называетъ его тятенькой. Не будь этого, онъ-бы (по его собственнымъ словамъ) не такъ нагрѣлъ хозяина, — ну, а тестя онъ нѣсколько щадить.—Конечно, впрочемъ, плутовство пересиливаетъ въ немъ порывы сердечнаго чувства, и когда

онъ, на комично-великодушный порывъ Большова, отдающаго ему все состояніе и просящаго только заплатить кредиторамъ копѣекъ по 10, отвѣчаетъ характерными словами, заключающими въ себѣ смыслъ піесы: „да ужъ тамъ, тятенька, какъ-нибудь сочтемся; помилуйте, свои люди“, — мы понимаемъ, что это слова плута, задумавшаго и порѣшившаго ловкое дѣло, а не выраженіе искренняго чувства.

Въ Олимпіадѣ Самсоновнѣ Подхалузина привлекаетъ ея „образование“. Здѣсь мы видимъ его прикосновенность къ внѣшней сторонѣ образованности, къ мишурной и больной сторонѣ жизни русскаго цивилизованнаго общества. Разумно отвѣтивши Олимпіадѣ Самсоновнѣ на ея вопросъ: „для чего вы, Лазарь Елизарычъ, по-французски не говорите?“ словами: „а для того, что намъ не для чего“, — онъ, однако, безсознательно увлекаясь очаровавшимъ его внѣшнимъ блескомъ, проситъ потомъ жену:

„Скажите, Олимпіада Самсоновна, мнѣ что-нибудь на французскомъ діалектѣ-съ... такъ, малость самую-съ“.

и въ восторгѣ цалуетъ ея „ручку“, когда она сказала ему и перевела фразу: „комъ ву зеть жоли“. Онъ общается ей выучиться танцевать; онъ шьетъ себѣ, для ея удовольствія, модные сюртучки, подстригаетъ по модѣ бороду, и т. д. и т. д. — Страсть Олимпіады Самсоновны къ нарядамъ и коляскамъ, къ роскоши, въ которой она видитъ признакъ образованія, ему нравится: онъ самъ полагаетъ, что въ этомъ и заключается просвѣщеніе. — Очень интересенъ его разговоръ на-единѣ съ Липочкой, когда онъ убѣждаетъ ее не гнушаться имъ и согласиться на бракъ. Благоговѣя передъ ея образованностью и любя ее, Лазарь смиренно переноситъ ея грубыя выходки и брань, и затѣмъ располагаетъ ее къ себѣ, нарисовавъ картину будущей ихъ семейной жизни:

если за меня-то вы, Алимпіада Самсоновна, выйдете-съ — такъ первое слово: вы и дома-то будете въ шелковыхъ платьяхъ ходить-съ, а въ гости, али въ театр-съ, — окромя бархатныхъ и надѣвать не станемъ. Въ разсужденіи шляпокъ или салоновъ—не будемъ смотрѣть на разныя дворянскія приличія, а надѣнемъ какую чуднѣй! Лошадей заведемъ орловскихъ. (Молчаніе). Если вы насчетъ моей фізіономіи сомнѣваетесь, такъ это какъ вамъ будетъ угодно-съ: мы также и фракъ надѣнемъ, и бороду обрѣемъ, либо такъ подстрижемъ, по модѣ-съ, это для насъ все одно-съ...

Да это что-съ, Алимпіада Самсоновна! Нешто мы въ этакоемъ домѣ будемъ жить? Въ каретномъ ряду купимъ-съ, распишемъ какъ: на потолкахъ это райскихъ птицъ нарисуемъ, сиреновъ, капидоновъ разныхъ—поглядѣть только будутъ деньги давать.

Все эти мечты и обѣщанія—не обманъ Олимпіады Самсоновны для ея утѣшенія; нѣтъ, ими увлекается самъ Лазарь, искренно и наивно. Онъ потомъ и осуществляетъ ихъ, къ удовольствію и счастьемъ Олимпіады Самсоновны и своему собственному.

Интересны три сцены, въ которыхъ Лазарь Елизарычъ расквитывается съ Рисположенскимъ, Устиньей Наумовной и самимъ Большовымъ.—Подхалюзинъ сбрасываетъ съ себя маску притворства—и передъ нами открывается во всей грубости его эгоизмъ; но здѣсь же, въ сценахъ съ первыми двумя лицами, мы видимъ и его здравый смыслъ и присущій ему, грубый, конечно, юморъ.

Устинья Наумовна. Какъ такъ сто цѣковыхъ? Да ты мнѣ полторы тысячи обѣщала!

Подхалюзинъ. Что-о-съ?

Уст. Наум. Ты мнѣ полторы тысячи обѣщала!

Подхалюз. Не жирно ли будетъ? Неравно облопааетесь.

Уст. Наум. Что-жь ты, курицынъ сынъ, шутить что-ли со мной вздумалъ? Я, братъ, и сама дама разухабистая.

Подхалюз. За за что вамъ деньги-то давать? Диви бы за дѣло за какое!

Уст. Наум. За дѣло-ли, за бездѣлье-ли, а давай,—ты самъ обѣщала!

Поджалюз. Мало-ли что я общалъ! Я общалъ съ Ивана Великаго прыгнуть, коли женюсь на Алимпіадѣ Самсоновнѣ,—такъ и прыгать?

Уст. Наум. Что-жъ ты думаешь, я на тебя суда не найду? Велика важность, что ты купецъ второй гильдіи, я сама на 14-мъ классѣ сижу, какая ни на есть, все-таки чиновница.

Поджалюз. Да хоть бы генеральша — мнѣ все равно; я васъ и знать-то не хочу,—вотъ и весь разговоръ.

Уст. Наум. Анъ врешь—не весь: ты мнѣ еще соболій салонъ общалъ.

Поджалюз. Чего-съ?

Уст. Наум. Соболій салонъ! Что ты оглохъ что-ли?

Поджалюз. Соболій-съ! Хе, хе, хе...

Уст. Наум. Да, соболій! Что ты смѣешься-то, что горло-то палишь!

Поджалюз. Еще рыломъ не вышли-съ въ соболичьихъ-то салонахъ ходить! (I, 95—96).

Другая сцена, съ Рисположенскимъ:

Рисположенскій. За деньгами, Лазарь Елизарычъ, за деньгами! Кто за чѣмъ, а я все за деньгами.

Поджалюз. Да ужъ вы за деньгами-то больно часто ходите.

Рисполож. Да какъ-же не ходить-то, Лазарь Елизарычъ, когда вы по пяти цѣлковыхъ даете. Вѣдь у меня семейство.

Поджалюз. Что-же, не по сту же вамъ давать.

Рисполож. А ужъ отдали бы заразы, такъ я бы къ вамъ и не ходилъ.

Поджалюз. То-то вы ни уха ни рыла не смыслите, а еще ханцы берете. За что вамъ давать-то?

Рисполож. Какъ за что?—Сами общали!

Поджалюз. Сами общали! Вѣдь давали тебѣ—попользовался, ну и будетъ, пора честь знать.

Рисполож. Какъ пора честь знать? Да вы мнѣ еще тысячи полторы должны.

Поджалюз. Должны! Тоже должны! Словно у него документы! А за что—за мошенничество!

Рисполож. Какъ за мошенничество! За труды, а не за мошенничество.

Поджалюз. За труды.

Рисполож. Ну, да тамъ за что бы то ни было, а давайте деньги, а то документъ!

Подхалюз. Чего-съ? Документъ! Нѣтъ, ужъ это послѣ придите.

Рисполож. Такъ что-жь ты меня грабить что-ли хочешь съ малыми дѣтьми.

Подхалюз. Что за грабежъ! А вотъ возьми еще пять цѣлковыхъ да и ступай съ Богомъ.

Рисполож. Нѣтъ, погоди! Ты отъ меня этимъ не отдѣлаешься

Подхалюз. А что же ты со мной сдѣлаешь?

Рисполож. Языкъ-то у меня не купленный.

Подхалюз. Что-жь ты, лизать что-ли меня хочешь?

Рисполож. Нѣтъ, не лизать, а добрымъ людямъ разсказывать.

Подхалюз. Объ чемъ разсказывать-то? Купоросная душа! Да кто тебѣ повѣрить-то еще?

Рисполож. Кто повѣрить?

Подхалюз. Да! Кто повѣрить? Поглядятко ты на себя. (I, 105—106).

Подхалюзинъ отказывается платить за Большова больше 10 „копѣчекъ“ съ рубля.

Да какъ-же, тятенька-съ! Вѣдь вы тогда сами изволили говорить-съ, больше 10 копѣекъ не давать-съ. Вы сами разсудите: по 25 копѣекъ денегъ много. — Вамъ, тятенька, закусить чего не угодно ли-съ? Маменька! прикажите водочки подать, да велите самоварчикъ поставить, ужъ и мы для компаніи выпьемъ-съ. — А 25 копѣекъ много-съ! (98).

Большовъ возражаетъ, потомъ уговариваетъ зятя, начинаетъ его упрекать и стыдить; но Лазарь стоитъ на своемъ:

Вотъ вы, тятенька, изволите говорить, куда я деньги дѣлъ? — Какъ-же-съ! Разсудите сами: торговать начинаемъ; извѣстное дѣло, безъ капитала нельзя-съ, взятыя не чѣмъ; вотъ домикъ купилъ, заведенъце всякое домашнее завелъ, лошадокъ, то, другое. Сами извольте разсудить! Объ дѣтяхъ подумать надо.

Отчего бы не заплатить-съ (говоритъ онъ нѣсколько далѣе), да просить цѣну, которую совсѣмъ несообразную. (100—101).

Наконецъ онъ рѣшаетъ—прибавить еще 5 копѣ-

чекъ.—На томъ они расстаются съ Большовымъ, — старикъ долженъ отправиться по кредиторамъ и молить ихъ объ уступкѣ.

Но справедливость требуетъ сказать, что въ Лазарѣ не совсѣмъ замерла душа. Онъ нравственно стоитъ гораздо выше своей безсердечной жены.—Его начинаетъ мучить совѣсть,—и тотчасъ по уходѣ тестя онъ говорить:

Эхъ! Алимпіада Самсоновна-съ! Не ловко-съ! Жаль тятеньку ей Богу, жаль-съ! Нешто поѣхать самому поторговаться съ кредиторами. Аль не надо-съ? Онъ-то самъ лучше ихъ разжалобить. А? Аль ѣхать? Поѣду-съ!

Какъ хотите, такъ и дѣлайте,—ваше дѣло (холодно замѣчаетъ Липочка).

Въ Лазарѣ не умерло еще и нѣкоторое чувство чести; по крайней мѣрѣ онъ боится и стыдится гласности. Замѣчательно окончаніе пьесы, окончаніе, только въ наши дни ставшее извѣстнымъ; цензура прежняго времени заставила Островскаго передѣлать конецъ комедіи—и ввести квартальнаго, пришедшаго арестовать Подхалюзина за соучастіе въ злостномъ банкротствѣ тестя. Великій комикъ Садовскій, чудесно игравшій Подхалюзина, выразительными жестами смягчалъ суровость полицейскаго—и этимъ поправлялъ навязанный автору исходъ пьесы.—Теперь передъ нами настоящее окончаніе знаменитой комедіи: обманутый Рисположенскій выходитъ изъ себя и въ отчаяніи и злобѣ обращается къ публикѣ:

Почтеннѣйшая публика! Жена, четверо дѣтей—вотъ сапоги худые!... Тестя обокралъ! И меня грабить... Жена, четверо дѣтей...

Лазарь Елизарычъ смутился. „Что ты! что ты! Очнись!“ кричитъ онъ.

Все вреть-съ! (пытается онъ оправдываться передъ судомъ общественной совѣсти). Самый пустой человѣкъ-съ!.. Вы ему не

вѣрьте, это онъ, что говорилъ-сь—это все врать. Ничего это и не было. Это ему, должно быть, во снѣ приснилось. — А вотъ мы магазинчикъ открываемъ: милости просимъ! Малаго робевка пришлите—въ луковницѣ не обочтемъ. (107).

Подхалюзинъ, для завлеченія публики, рѣшился держаться приѣмовъ внѣшней честности въ торговлѣ.

Мы долго, можетъ быть даже слишкомъ долго, оставались на первомъ большомъ произведеніи великаго драматурга. Но это нужно было для того, чтобы на первомъ же крупномъ созданіи поэта выяснить его отношенія къ изображаемому имъ міру.—Изъ подробнаго разсмотрѣнія характеровъ комедіи „Свои люди сочтемся“ мы можемъ, кажется, сдѣлать заключеніе, что Островскій не былъ сатирикомъ. Объективно, спокойно и безпристрастно рисовалъ онъ жизнь и людей. Онъ проводилъ свои типы передъ лицомъ высокаго идеала, и передъ свѣтомъ этого идеала обличалось само-собою (безъ страсти и гнѣва со стороны поэта) все ихъ злое и темное. Но, благодушный и терпимый, поэтъ и въ низко упавшихъ людяхъ показывалъ намъ остатки добрыхъ свойствъ и стремленій. Драматизмъ пьесы и состоитъ въ борьбѣ въ душѣ Большова, а также и въ душѣ Лазаря—добра и зла.—Притомъ замѣчательно еще одно обстоятельство: борьба въ душѣ Большова готова какъ-будто (правда, при посредствѣ постигшихъ Самсона Силыча несчастій) разрѣшиться побѣдой добра; въ душѣ Лазаря—побѣдою плутовства и мошенничества надъ совѣстью и сердцемъ.—Собственное сердце поэта такимъ образомъ (какъ видимъ изъ соотношенія въ пьесѣ созданныхъ имъ лицъ) больше лежитъ къ человѣку непосредственно-народному, чѣмъ къ тому, кого коснулось вліяніе внѣшней образованности.

ГЛАВА III.

„Не въ свои сани не садись“.

Въ первой своей большой комедіи — „Свои люди сочтемся“ — Островскій какъ-будто отрицательно и сатирически относится къ изображаемому имъ быту. Такъ, по крайней мѣрѣ, принято думать. Но подробный анализъ характеровъ главныхъ лицъ пьесы приводитъ невольно къ инымъ заключеніямъ. Конечно, поэтъ не сочувствуетъ мошенничеству Большова и Подхалюзина, безсердечію Липочки, — онъ казнить ихъ своимъ здравымъ смѣхомъ; но онъ же въ комической личности глупой Аграфены Кондратьевны умѣетъ подмѣтить высокую черту сильной материнской любви, и въ плутѣ Лазарѣ Подхалюзинѣ видитъ искреннюю привязанность къ женѣ и остатки сердца и совѣсти... Объективный художникъ, спокойно и добродушно относящійся къ дѣйствительности, а не сатирикъ былъ авторомъ „Своихъ людей“.

Комедіи „Не въ свои сани не садись“ и „Бѣдность не порокъ“ уже несомнѣнно свидѣтельствуютъ о симпатіяхъ Островскаго къ народной жизни. Всякому, кто подойдетъ къ этимъ пьесамъ съ непредубѣжденнымъ взглядомъ, будетъ ясно, что въ нихъ нарисована поэзія народнаго быта, ласковый и пріятливый покой семейнаго счастья.

Главное лицо комедіи „*Не въ свои сани не садись*“—патріархально-благодушный старикъ Максимъ Ѳедотычъ *Русаковъ*. Онъ семьянинъ въ самомъ хорошемъ смыслѣ этого слова. Съ умиленіемъ говоритъ онъ о покойной женѣ, и воспоминаніе о ней вызываетъ у него слезы.

Помнишь, свать? (обращается онъ къ Маломальскому)... Ну, что! Роптать грѣхъ. (Утирая слезы). Годковъ тридцать пожилъ! и за то должбнъ Бога благодарить. Да какъ пожилъ! Тридцать лѣтъ слова неласковаго другъ отъ друга не слыхали! (I, 251).

Теперь, оставшись вдовцомъ, онъ всю силу своей привязанности сосредоточилъ на Авдотѣ Максимовнѣ. „Дуня у меня одна...“ говоритъ онъ; и его задушевная мечта—устроить семейное счастье дочери, выдать ее за хорошаго и любимаго ею человѣка, да любоваться потомъ на ихъ житье.

Одна у меня теперь забота, какъ бы мнѣ Дунюшку пристроить (говоритъ онъ). Полюбовался-бы на тебя, мое дитятко, внучать бы понянчить, коли Богъ приведетъ.... Ну, а тамъ ужъ что, чего мнѣ ждать, умеръ бы покойно; по крайности бы зналъ, что есть кому душу помянуть, добрымъ словомъ вспомнить.

Тихій покой, довѣрчивая ласка семейныхъ привязанностей—идеаль жизни, по взгляду Русакова.

Что есть, дѣтшки, лучше того на свѣтѣ (говоритъ онъ дочери и Бородину), какъ жить своей семьей въ мирѣ да въ благочестіи—и самому весело, и люди на тебя будутъ радоваться. А врагу рода человѣческаго это досада не малая; онъ тебя будетъ всякимъ соблазномъ соблазнять, всякимъ прельщеніемъ. Поддался ты ему, ну и пошла брань да нелюбовь въ семьѣ, и еще того хуже бываетъ. Не поддался, ну и онъ бѣжитъ далеко, потому ему смерть смотрѣть на честное житье. Какія бываютъ дѣла, Иванушка! Поживешь-то, всего насмотришься. Дѣти-ли не почитаютъ родителей, жены-ли живутъ съ мужьями неладно—все это дѣло вражье. Всякій часъ отъ него берегись! Эхе-хе! Не даромъ пословица говорится: „не бойся смерти, а бойся грѣха“. (269).

Дочь свою Русаковъ любить безпредѣльно; онъ не только понимаетъ, что Авдотья Максимовна — хорошая дѣвушка, но онъ даже, любя, нѣсколько идеализируетъ ее,—лучше ея нѣтъ и людей на свѣтѣ; онъ говоритъ, вспоминая о женѣ:

Она, голубка, бывало, куда придетъ, тамъ и радость. Вотъ и Дуня такая-же: пусти ее къ лютымъ звѣрямъ, и тѣ ее не тронуть. Ты на нее посмотри: у нея въ глазахъ-то тодько любовь да кротость. Она будетъ любить всякаго мужа; надо найти ей такого, чтобъ ее-то любилъ, да могъ-бы понять, что это за душа.... душа у ней русская.

И вотъ этого-то человѣка, добраго и любящаго, критикъ „темнаго царства“ заподозрилъ въ самодурствѣ, въ томъ, что онъ притѣсняетъ, гнететъ и принижаетъ дочку. Поводомъ къ такому обвиненію послужили собственныя слова Русакова: когда Бородинъ, сватаясь за Авдотью Максимовну, замѣчаетъ: „конечно, Максимъ Федотычъ, главная причина, какъ сами Авдотья Максимовна, какъ имъ человѣкъ понравится“,—старикъ возражаетъ на это, что „дѣло дѣвичье—глупое“, дѣвку не долго обмануть; подвернется, подластится вѣтрогонъ—она и полюбитъ.

„Нѣтъ (говоритъ онъ), это не порядокъ: пусть мнѣ человѣкъ понравится. Я не за того отдамъ, кого она полюбитъ, а за того, кого я полюблю. Да, кого я полюблю, за того и отдамъ. Да я годъ буду смотрѣть на человѣка, со всѣхъ сторонъ его огляжу. А то какъ дѣвкѣ повѣрить? Что она видѣла? кого она знаетъ... А я, свать, недаромъ шестьдесятъ лѣтъ на свѣтѣ живу, видалъ-таки людей-то: меня на кривой не объѣдешь“. (250).

Если судить объ этихъ словахъ поверхностно, Добролюбовъ правъ: въ самомъ дѣлѣ, чувству дѣвушки и ея воли Русаковъ какъ будто не придаетъ значенія; онъ какъ будто хочетъ предписать ей—кого любить, за кого

выдти замужъ. Такъ бываетъ въ томъ бытѣ, однимъ изъ представителей котораго является Русаковъ, такъ поступаютъ самодуры (вродѣ Большова, Гордѣя Карпыча Торцова); въ такомъ смыслѣ и понялъ приведенныя слова Маломальскій: „какъ можно... дѣвкѣ гдѣ?.. (говорить онъ); дай имъ волю-то, послѣ и не расчерпаешь, такъ-ли... а?“ — Но Русаковъ думаетъ и чувствуетъ иначе: „Все ты не дѣло толкуешь!.. (возражаетъ онъ свату). Моя дочь не такая“... — Когда Авдотья Максимовна открывается отцу, что любить Вихорева, и просить согласія на бракъ съ нимъ, Русаковъ рѣзко отказывается, опираясь, согласно съ традиціями своего быта, на безусловность родительскаго авторитета:

Вотъ тебѣ, Авдотья, мое послѣднее слово: или ты поди у меня за Бородинна, или я тебя и знать не хочу (говорить онъ).

Про Вихорева онъ и слышать не хочетъ. — Но когда отказъ его сильно подѣйствовалъ на дочку и она падаетъ въ обморокъ, старикъ весь потрясенъ и взволнованъ. „Господи, не попусти! (съ ужасомъ восклицаетъ онъ). Дуня! Очнется-ли она, очнется-ль?.. Нѣтъ!.. Ужли-жь я ее убилъ?..“ Нѣжной лаской отвѣчаетъ онъ дочери, когда та, придя въ себя, произноситъ: „гдѣ тятенька?“ и затѣмъ начинаетъ съ ней разговоръ по-душѣ, искренній и сердечный; онъ говоритъ, что если-бы зналъ, что Вихоревъ человѣкъ степенный и дѣйствительно любить, то онъ и разговаривать не сталъ-бы, отдалъ бы Дуню за него. Старикъ находитъ затѣмъ и разумный исходъ изъ затрудненія: онъ говоритъ, что можно узнать—дѣйствительно-ли Вихоревъ любить?

Дѣло-то простое. Я ему скажу, что за тобой ничего не дамъ пускай такъ беретъ. Коли любить, возьметъ и такъ.

Авдотья Максимовна отвѣчаетъ выраженіемъ своего

убѣжденія, что счастье не въ богатствѣ, что „коли любишь человѣка, такъ никакихъ сокровищъ не надо.“ А старикъ кротко возражаетъ ей:

Это ты, мое дитяtko, такъ разсуждаешь, а у нихъ-то другое на умѣ; ну, да вотъ посмотримъ. (281).

На все это критикъ „темнаго царства“ и его подражатели говорятъ или могутъ сказать, что здѣсь Русаковъ просто не послѣдователенъ, не логиченъ, что сердце въ немъ въ данномъ случаѣ восторжествовало надъ убѣжденіемъ, что человѣкъ побѣдилъ на минуту представителя быта.—Но говорящіе такъ забываютъ еще одно обстоятельство, въ сущности самое важное: въ словахъ Русакова о томъ, что дѣвушка можетъ полюбить ошибочно, вѣтрогона и плута, потому что она молода, потому что—„что она видѣла? кого она знаетъ?“—въ словахъ этихъ много и много правды.

Замѣчаніе Добролюбова, что зачѣмъ же Русаковъ такъ воспиталъ Авдотью Максимовну, что она ничего не знаетъ? что напрасно онъ держалъ ее въ четырехъ стѣнахъ,—замѣчаніе это не имѣетъ никакого значенія: во 1-хъ, Русаковъ не геній, чтобы подняться выше обычаевъ своего быта; во 2-хъ, гдѣ же въ небольшомъ городкѣ могъ онъ дать иное воспитаніе дочери? въ 3-хъ, о четырехъ стѣнахъ и т. п. старикъ говоритъ Вихореву, и говоритъ явно преувеличивая дѣло: мы знаемъ, что Авдотья Максимовна вовсе не была такъ стѣснена, какъ можетъ показаться,—она знала, напр., Бородкина, она любила его и бесѣдовала съ нимъ наединѣ и видѣлась съ нимъ. А въ 4-хъ, и это самое главное, развѣ образованіе *совершенно* предохраняетъ отъ ложныхъ увлеченій? Конечно, чѣмъ человѣкъ просвѣщеннѣе, чѣмъ шире его кругозоръ, чѣмъ больше онъ видитъ людей, тѣмъ лучше, тѣмъ

менѣ возможности ошибиться; но надо принять въ расчетъ и молодость,—ей свойственно увлекаться и идеализировать свои увлеченія: не только въ купеческомъ бытѣ, но и въ нашемъ образованномъ обществѣ развѣ не видимъ мы на каждомъ шагѣ того грустнаго явленія, что благородное и умное и чистое существо привязывается къ человѣку недостойному, даже пошлому, или потому что внѣшній блескъ, дешевую мишуру принимаетъ за золото, или потому, что свои собственные низменные инстинкты начинаетъ считать за чувство и по наивной чистотѣ своей бессознательно прикрывать ихъ чувствомъ и увѣрять себя, что любить, и идеализировать, какъ Титанія Шекспира, ослиную голову. Самоувѣренный наглець съ самымъ незначительнымъ душевнымъ содержаніемъ, съ ограниченнымъ умомъ можетъ показаться гордымъ титаномъ,

Въ которомъ міръ непрозорливый
Родства съ богами не призналъ.

и дѣвушка, воображающая, что влюблена, не разгадываетъ шута въ замаскированномъ актерѣ, и „какъ сыну неба“ подаетъ ему (по словамъ поэта) нектаръ „съ Зевесова стола“, и страдаетъ, слушая его угрозы всему, что ей дорого, что составляетъ ея задушевные убѣжденія.—Тоже бываетъ и съ юношами: кокетку, пустую, а иной разъ и корыстную, умный и благородный, но по молодости довѣрчивый и склонный къ идеализаціи, человѣкъ можетъ принять за существо поэтическое и даже глубокое.—Вотъ здѣсь и необходима помощь старшаго поколѣнія, важны совѣтъ и руководство опытнаго и спокойнаго человѣка, какъ отвѣтъ на довѣріе молодаго существа. Вотъ въ чемъ объясненіе словъ Русакова.—Мало того; возможенъ случай еще болѣе роковой и печальный: ложное увлеченіе можетъ затмить даже живу-

щее уже въ душѣ истинное чувство, которое замретъ на- время подѣ чуждымъ давленіемъ, и человѣкъ самъ этого, въ порывѣ очарованія, не замѣчаетъ.—Такъ именно и было съ Авдотьей Максимовной: она воображаетъ, что любить Вихорева, между тѣмъ какъ на самомъ-то дѣлѣ сердцу ея милъ и дорогъ Бородинъ.

Отставной кавалеристъ, котораго попросили выдти изъ службы и который промоталъ свое имѣніе, разсуждая, что деньги „ни больше, ни меньше какъ средство жить порядочно, въ свое удовольствіе“ (что „ужь доказано всѣми науками“), Вихоревъ ищетъ случая жениться на богатой купчихѣ; онъ пускаетъ въ ходъ, для очарованія дѣвушки, самыя незамысловатыя средства: модный нарядъ и прическа, молодцоватый видъ и походка, разговоръ о прелестяхъ столичной жизни и о томъ, что въ глуши жить скучно, дешевенькое негодованіе на стѣсненіе свободы человѣческой, холодное, но въ отборныхъ словахъ, заимствованныхъ изъ французскаго романа, увѣреніе въ любви, подкрѣпляемое пошлой угрозой, что въ случаѣ отверженія его страсти, онъ уѣдетъ на Кавказъ, подѣ черкесскія пули (а „вы знаете, какъ черкесы хорошо стрѣляютъ?“),—все это обаятельно дѣйствуетъ на неопытное, наивное и довѣрчивое сердце Авдотьи Максимовны.

„Да ты, Ваня, не сердись! (говоритъ она Бородину). Я тебѣ все расскажу, ты самъ разсудишь. За меня теперь сватается благородный. Какой красавецъ собой-то, какой умный! Любила я тебя, ты знаешь, а ужь какъ его полюбила, я и не знаю, какъ это словами сказать“. (267).

Любовь къ Бородину прорывается, въ этой поэтической сценѣ объясненія молодыхъ людей, въ искреннихъ и сердечныхъ словахъ Авдотьи Максимовны:

„Вотъ я тебѣ, Ваня, все сказала, что только сердце мое чувствовало.... Не захотѣла я тебя обманывать“,

да еще въ ея тескливомъ, скорбномъ восклицаніи: „не пой ты, не терзай мою душу!“ Но она сама не сознаетъ теперь, что любитъ Бородкина, не сознаетъ, не смотря даже на то, что чувствуетъ ложь и зло своего увлеченія Вихоревымъ, чувствуетъ, что это увлеченіе тяготитъ ее.

Что-жъ мнѣ дѣлать-то! (искренно говорить она Бородкину). На грѣхъ я его увидѣла! Такъ вотъ съ тѣхъ поръ изъ ума неидетъ, и во снѣ все его вижу. Словно я къ нему привороженная какая. (Сидитъ задумавшись). И нѣтъ мнѣ никакой радости!.... Прежде я веселилась, дѣвка, какъ птичка порхала, а теперь сижу вотъ, какъ къ смерти приговоренная, не веселитъ меня ничто, не глядѣла-бъ я ни на кого. Ужъ и что я, бѣдная, въ эти дни слезъ пролила!... Вѣдь надо-жъ быть такой бѣдѣ!.. (267).

И не только въ этомъ разговорѣ съ Ваней, а и во многихъ другихъ случаяхъ, постоянно и послѣдовательно Авдотья Максимовна высказываетъ, что ее тяготитъ и мучитъ чувство къ Вихореву,—и однако-жъ ослѣпленіе и заблужденіе ея такъ велики, что она, не задумываясь, искренно и съ увлеченіемъ говорить отцу:

Я безъ него жить не могу. Умереть мнѣ легче, чѣмъ идти за другаго.... Я.... думала, и дни думала, и ночи напролетъ думала, не смыкаячи глазъ. Безъ него мнѣ не милъ бѣлый свѣтъ! Я отъ тоски да отъ слезъ въ гробъ сойду! (278).

Что-же въ этомъ случаѣ дѣлать отцу, горячо любящему свое дитя, понимающему, что дочь стоитъ на краю пропасти, и сознающему, что онъ за нее долженъ дать отвѣтъ Богу? Неужели такъ прямо и согласиться на безумный бракъ, сознавая, что въ скоромъ времени дѣвушка сама пойметъ ошибку и очнется отъ очаровавшаго ее заблужденія, и тогда ее ждетъ безразсвѣтная тьма отчаянія? Любящее сердце и здравый умъ подсказали Русакову истинное рѣшеніе вопроса.

Авдотья Максимовна поняла Вихорева лишь тогда, когда онъ самъ, на постояломъ дворѣ, снялъ съ себя маску и цинически грубо разбилъ вѣрованія дѣвушки въ него, въ его безкорыстное чувство и благородство. Но даже и тутъ она, съ негодованіемъ и безповоротно отвертываясь отъ него, еще воображаетъ, что любить его.

Я вамъ зла не желаю. Найдите себѣ жену богатую (говорить она обманувшему ее проходимцу), да такую, чтобъ любила васъ такъ, какъ я; живите съ ней въ радости, а я дѣвушка простая, доживу какъ-нибудь, скоротаю свой вѣкъ въ четырехъ стѣнахъ сидя, проклиная свою жизнь. Прощайте! (288).

Кромѣ кроткаго христіанскаго чувства прощенія человѣку, сдѣлавшему намъ зло, въ этихъ словахъ Авдотьи Максимовны слышится и личная любовь. Она поняла, что этой любви нѣтъ въ ея сердцѣ, лишь тогда, когда очутилась въ обстановкѣ роднаго дома, возлѣ дѣйствительно любящихъ ее и любимыхъ ею людей, когда Ваня Бородкинъ своимъ великодушнымъ поступкомъ опять пробудилъ дремавшее въ ея сердцѣ чувство къ нему.

Добролюбовъ отнесъ Авдотью Максимовну къ числу забитыхъ и приниженныхъ личностей, не имѣющихъ собственной воли и лишь исполняющихъ приказанія стоящихъ надъ ними самодуровъ.—Это совершенно несправедливо.—Авдотья Максимовна, въ самомъ дѣлѣ, в теченіи всего времени любви своей къ Вихореву и своихъ отношеній къ нему твердитъ объ отцѣ, о томъ, что не поступить противъ его воли.

Уѣдьте потихоньку, да и обвѣнчаемся (говоритъ Вихоревъ).

Ахъ, нѣтъ, нѣтъ!.. (горячо возражаетъ она) что вы это, ни за что на свѣтѣ!.. Ни-ни, ни за какія сокровища!

Она хочетъ, чтобы Вихоревъ переговорилъ съ отцомъ;

сама хочетъ попросить отца; и на слова Вихорева: „а ну, какъ онъ откажетъ мнѣ“? отвѣчаетъ:

Что-жъ дѣлать!.. вѣдь, моя такая судьба несчастная. (259).

Увезенная Вихоревымъ, Авдотья Максимовна говорить ему:

Викторъ Аркадьичъ! я съ вами и въ огонь и въ воду готова, только пустите меня къ тятенькѣ; я еще теперь приду во-время: (283).

И такъ постоянно. Но здѣсь выражается не безволие и приниженность Авдотьи Максимовны, а совсѣмъ иное. Во 1-хъ, она смутно чувствуетъ, что въ отцѣ ей нужна опора, нуженъ руководитель и помощникъ, который бы спасъ ее отъ ложнаго увлеченія; во 2-хъ, она любитъ отца и знаетъ, что безпредѣльно и горячо любима имъ, и что эта любовь имѣетъ свои права. Дѣвушка честная и хорошая, она сознаетъ, что нельзя презрѣть чувствомъ того, кто душу свою положилъ на нее, для кого она съ дѣтства, втеченіи многихъ лѣтъ была радостью и утѣшеніемъ, что грѣшно сдѣлать важный шагъ въ жизни безъ его вѣдома и согласія.!

Для Авдотьи Максимовны понятно и негодованіе отца, когда тотъ узналъ объ ея бѣгствѣ: въ немъ оскорблено чувство отверженной любви.—Сначала старикъ разлился въ горькихъ и нѣжныхъ жалобахъ:

Она своей волей уѣхала, она своей волей бросила отца, на смѣхъ людямъ, бросила старика одного горе мыкать! Дочка! не вѣдь тебѣ будутъ радости. Вспомнишь ты и обо мнѣ. Кто тебя такъ любить будетъ, какъ я тебя любилъ?... Поживи въ чужихъ людяхъ, узнаешь, что такое отецъ!... Диви-бы я съ нею строго былъ, или жалѣлъ для нея что. Я-ли ее не любилъ, я-ли ее не голубилъ?.. (Плачетъ). (294).

Потомъ имъ начинается овладѣвать гнѣвъ:

Я ее теперь и видѣть не хочу (говорить онъ), не велю и пускать къ себѣ, живи она, какъ хочешь. (Молчаніе). Я ужъ не увижу ее... Коли кто изъ васъ увидитъ ее, такъ скажите ей, что отецъ ей зла не желаетъ, что коли она, бросивши отца, можетъ быть душой покойна, жить въ радости, такъ Богъ съ ней! Но за поруганіе мое, моей сѣдой головы, я видѣть ее не хочу никогда, Дуня умерла у меня! Нѣтъ, не умерла, ея и не было никогда! Имени ея никто не смѣй говорить при мнѣ!

Въ это время входитъ Авдотья Максимовна,—и старикъ обращается къ ней съ суровыми упреками, съ суровыми вопросами: „а полюбовникъ гдѣ?“ „ну, зачѣмъ-же ты пришла?“ Потомъ онъ грозитъ ей: „Нѣтъ, голу-бушка, я тебя запрю. Поди!“—Гнѣвъ его доходитъ до жестокости въ словахъ, обращенныхъ къ Бородину:

Нѣтъ, Иванушка, погоди, тебѣ эта невѣста не годится, я тебѣ найду другую... Тебѣ надобно дѣвушку честную, чтобъ про нее худої славы не было. (301).

Но сквозь суровость гнѣва, въ самую минуту ожесточенія слышна любовь Русакова къ дочери: съ негодованіемъ отвергаетъ онъ мысль Маломальскаго—заставить Вихорева жениться на осрамленной дѣвушкѣ:

Осрамилъ—ну, что-жь, нашъ грѣхъ!... Да меня золотомъ осыпъ, я на него и глядѣть-то не хочу, не то чтобъ въ зятя взять. (301).

Любовь къ дочери слышится въ самомъ преувеличеніи старикомъ своего гнѣва. А въ ту минуту, когда униженная и подавленная горемъ Авдотья Максимовна высказываетъ заступившемуся за нее Бородину, какъ тяжело у нея на душѣ, гнѣвъ Максима Федотыча остываетъ, и съ удвоенной, съ утроенной силой пробуждается горячая любовь.

Эх-ма, свать (говоритъ онъ Маломальскому), состарѣлся я, а все еще глупъ! За что я ее обидѣлъ?.. Дунюшка, словечко-то

у меня давеча въ-сердцахъ сорвалось, маленько оно обидно, такъ ты его къ сердцу не принимай. Самому было горько, ну и ска- залъ лишнее.

и, въ отвѣтъ на просьбу дочери простить ее, онъ самъ просить о прощеніи. Растроганный, примиренный, онъ теперь не хочетъ, не можетъ разстаться съ безконечно дорогой ему дочкой:

Нѣтъ, Иванушка, я тебѣ ее не отдамъ!.. (говорить онъ)... Коли хочешь ее взять, такъ переѣзжай сюда и съ матерью, и будемте жить вмѣстѣ". (308).

Осуществленіемъ въ широкихъ размѣрахъ семейнаго идеала, устроеніемъ мирной и любовной совѣстной жизни отцовъ и дѣтей заканчивается комедія.

Отмѣчу еще одну черту въ характерѣ Русакова: это человѣкъ стараго склада, врагъ новомодныхъ обычаевъ и всякаго рода увлеченій внѣшнимъ образованіемъ.

Что это, Иванушка, какъ я погляжу (говорить онъ), народъ-то все хуже и хуже дѣлается; и что это будетъ, ужъ и не знаю... Нѣтъ, мы, бывало, страхъ имѣли, старшихъ уважали. Опять эту моду выдумали! Прежде ея не было, такъ лучше было, право. Проще жили; ну, и народъ честнѣй былъ. А то—я, говорить, хочу по модѣ жить, по нынѣшнему, а глядишь, тому не платять, другому не платять.

Русакову противоположна, въ этомъ смыслѣ, сестра его *Арина Федотовна*, помогающая Вихореву въ его ухаживаніяхъ за Авдотьей Максимовной; она распѣваетъ жестокіе романсы, презираетъ Нородкина, какъ „му- жика“, благоговѣетъ передъ образованными „кавале- рами“ вродѣ Вихорева. Съ справедливымъ негодованіемъ обращается къ ней Русаковъ, когда узналъ объ увозѣ дочки:

Ну, сестрица голубушка, отблагодарила ты меня за мою хлѣбъ- соль! Спасибо! Лучше-бъ ты у меня съ плечъ голову сняла, ни-

чѣмъ ты это сдѣлала. Твое дѣло: порадуйся! Я ее въ страхѣ воспитывалъ, да въ добродѣтели, она у меня какъ голубка была чистая. Ты пріѣхала съ заразой-то своей. Только у тебя и разговору-то было, что глупости... всѣ рѣчи-то твои были такіа вздорныя. Вѣдь тебя нельзя пустить въ хорошую семью: ты ядъ и соблазнъ! (295).

Очень важное мѣсто въ „Саняхъ“ и въ творествѣ Островскаго вообще занимаетъ *Бородкинъ*. Это человѣкъ ничѣмъ особеннымъ не выдающійся изъ среды, совершенно обыденный, но хорошій и честный. Практическій, обладающій здравымъ смысломъ, смѣтливый, онъ дѣльно и скромно ведетъ торговлю, и скромно живетъ съ старухой матерью; онъ смиренъ, но и никому не позволить наступить себѣ на ногу; „живу самъ по себѣ, своимъ умомъ, и никому уважать не намѣренъ“, говоритъ онъ Маломальскому; и когда Арина Ѳедотовна начинаетъ глупо-презрительно насмѣхаться надъ нимъ, онъ умѣетъ, откровенно грубо, но благородно и остроумно, дать ей отпоръ. Человѣкъ народа, человѣкъ почвы, онъ, полюбивши Авдотью Максимовну (тоже дѣвушку обыденную, и ничѣмъ особеннымъ не выдающуюся), въ народномъ творествѣ находитъ выраженіе своего чувства и словами пѣсни высказываетъ свою любовь и горе:

Вспомни, вспомни, моя любезная,
Нашу прежнюю любовь...

Много поэтическаго въ любви его и Авдотьи Максимовны, въ любви тоже обыденной и ничѣмъ не выдающейся:

Эхъ, Авдотья Максимовна, грѣхъ вамъ! (говоритъ онъ). Вспомните: бывало, осенніе темные вечера вдвоемъ просиживали, вотъ у этого окошечка. Бывало, въ сѣняхъ встрѣтимся, въ сумеречкахъ, такъ не наговоримся; долго нейдутъ, такъ, накинута шубку-то на

плечики, у калитки дожидались. Былъ я и Ваничка, и дружокъ, а теперь не хорошъ сталъ. (266—267).

Любовь его — любовь на-вѣки: когда Авдотья Максимовна, воображая, что разлюбила его и любить Вихорева, совѣтуетъ ему жениться на Грушѣ, онъ возражаетъ:

Что мнѣ жениться-то!.. на что?.. Чужой вѣкъ заѣдать? ужъ любить ее не буду. (268).

И любовь эта вмѣстѣ самоотверженная: когда Арина Федотовна увѣряетъ его, что Дуня будетъ счастлива за Вихоревымъ, онъ замѣчаетъ:

Хорошо, кабы вашими устами да медъ пить! Я-бы самъ вчужѣ за Авдотью Максимовну порадовался. (296).

и онъ, дѣйствительно, въ состояніи забыть себя для любимаго человѣка.

Благородная высота его простой русской души вполне выражается въ концѣ комедіи, когда онъ великодушно беретъ подъ свою защиту оскорбленную, униженную, и въ униженіи всѣми отвергаемую дѣвушку.

Положимъ, хотя она ваша дочь, а за что-жъ ее обижать (говоритъ онъ Русакову). Авдотья Максимовна и такъ обижена кругомъ, долженъ кто-нибудь за нее заступиться. Ее-жъ обидѣли, да ее-жъ и бранить. По крайней мѣрѣ она у насъ будетъ ласку видѣть отъ меня и отъ маменьки. Что-жъ такое, со всякимъ грѣхъ бываетъ. Не намъ судить!

и онъ смиренно не придаетъ даже значенія своему великодушію:

Иванъ Петровичъ! (обращается къ нему бѣдная дѣвушка) любите хоть вы меня, меня никто не любитъ. Весь свѣтъ на меня!

Помилуйте, Авдотья Максимовна, (отвѣчаетъ онъ), есть же во мнѣ какое-нибудь чувство; я вѣдь не звѣрь, и во мнѣ есть искра Божія! (302).

Чрезвычайно странно, что критикъ „темнаго царства“ не повѣрилъ этой чертѣ характера Бородкина; онъ говоритъ: „великодушная выходка Бородкина — совершенно исключительная и несообразная съ нравами среды“. (Соч. III, 89). Добролюбовъ какъ будто не зналъ или забылъ, что русскій человѣкъ добродушенъ, что онъ даже преступника не берется осуждать, а называетъ несчастненькимъ и подаетъ ему милостыню. Бородкинъ поступаетъ совершенно въ народномъ духѣ, въ томъ народномъ духѣ, который подсказалъ поэту одно изъ прекрасныхъ стихотвореній:

Когда изъ мрака заблужденья
Горячимъ словомъ убѣжденья
Я душу падшую извлекъ,
И вся полна глубокой муки,
Ты прокляла, ломая руки,
Тебя опутавшій порокъ,
.....
Мнѣ лучъ божественный участья
Весь темный путь твой освѣтилъ,
Я понялъ все, дитя несчастья,
Я все простилъ и все забылъ.
Зачѣмъ же горькому сомнѣнью
Ты ежечасно предана?
Толпы безсмысленному мнѣнью
Ужель и ты покорена?
Не вѣрь толпѣ, пустой и лживой,
Забудь сомнѣнїя свои,
Въ душѣ болѣзненно пугливой
Гнетущей мысли не таи;
Грустя напрасно и безплодно,
Не пригрѣвай змѣю въ груди —
И въ домъ мой смѣло и свободно
Хозяйкой полною войди.

Комедія „Не въ свои сани не садись“ представляетъ

противоположность „Своимъ людямъ сочтемся“, въ томъ смыслѣ, что въ первой своей большой пьесѣ изъ купеческаго быта Островскій остановился преимущественно на изображеніи темной стороны жизни, напротивъ—въ „Саняхъ“ онъ рисуетъ свѣтлыя, отрадныя явленія русской народной дѣйствительности.

ГЛАВА IV.

„Бѣдность не порокъ“.

Многостороннѣе и шире обнимаетъ эту дѣйствительность слѣдующая по времени тотчасъ за „Санями“ великая бытовая комедія—*„Бѣдность не порокъ“*.

Здѣсь опять мы видимъ апоѳеозу семейнаго начала, семейной жизни. Но здѣсь въ тихое теченіе этой жизни вливаются еще могучимъ потокомъ поэзія народнаго творчества, народные обычаи и пѣсни.—Представительница семейнаго начала въ комедіи—Пелагея Егоровна—устраиваетъ для дочери святочное веселье, и вотъ во 2-мъ актѣ пьесы поются подблюдныя пѣсни, являются на сцену и пляшутъ ряженые. А когда веселье прервано и неожиданно-негаданно у Любовь Гордѣвны оказывается женихъ—Коршуновъ, дѣвушки заключаютъ актъ скорбными свадебными пѣснями, прекрасно выражающими горе насильно выдаваемой замужъ дѣвушки.—Сильное впечатлѣніе на зрителей производитъ этотъ живьемъ взятый изъ дѣйствительности и перенесенный драматургомъ на сцену міръ народнаго поэтическаго творчества.

Въ этой комедіи Островскій впервые нарисовалъ типъ настоящаго самодура. Большовъ въ „Своихъ людяхъ“

самодурствуетъ лишь въ нетрезвомъ видѣ,—въ обыкновенномъ его состояніи съ нимъ можно разговаривать и домашніе его тогда не боятся. — Иное дѣло — *Гордый Карпычъ Торцовъ*.—Торцовъ—гордъ и глупъ. Пелагея Егоровна, рассказывая объ его сближеніи съ Коршуновымъ и ихъ пьянствѣ, замѣчаетъ про мужа:

Съ пьяну-то, должно быть, у него (показывая на голову) и помутилось. Ужъ я такъ думаю, что это врагъ его смущаетъ! Какъ-таки разсудку не имѣть! (II, 4—5).

А Любимъ Торцовъ выражается еще опредѣленнѣе:

у него вотъ эта кость очень толста (говорить онъ про лобную кость брата). Ему, дураку, наука нужна. (23).

По нелѣпому тщеславію Гордѣй Карпычъ вдругъ, неожиданно для домашнихъ и для себя самого вообразилъ, что для него низко жить въ окружающей его средѣ.

Мнѣ, говорить (рассказываетъ про него жена), здѣсь не съ кѣмъ компанію водить, все, говорить, сволочь, все, видишь ты, мужики, и живутъ-то по мужицки.

Онъ глупо стыдится родни, ея низкаго происхожденія:

куда я тебя дѣну? (говорить онъ брату Любиму, пришедшему къ нему за помощью). Ко мнѣ гости хорошіе ѣздить, купцы богатые, дворяне; ты... съ меня голову снимешь. По моимъ чувствамъ и понятіямъ мнѣ-бы совсѣмъ... не въ этомъ роду родиться. Я видишь... какъ живу: кто можетъ замѣтить, что у насъ тятенька мужикъ былъ? Съ меня... и этого стыда довольно, а то еще тебя на шею навязать. (23).

Жилъ онъ до старости спокойно, по-старинѣ, но „сѣзидилъ въ отъѣздъ“ (какъ выражается Пелагея Егоровна)—и переѣхался. Увидалъ онъ роскошь, модную

жизнь, внѣшній блескъ образованія, — и плѣнился ими, внезапно и глупо.

Теперь все ему наше русское не мило (разсказываетъ про него жена; ладить одно — хочу жить по-нынѣшнему, модами заниматься. (4).

Его очаровалъ Коршуновъ, богатый фабрикантъ, московскій, и живущій „больше все въ Москвѣ“; онъ ухаживаетъ за этимъ Коршуновымъ, подражаетъ ему, изъ всѣхъ силъ бьется, чтобы заслужить его одобреніе и блеснуть передъ нимъ. Привезя Коршунова къ себѣ въ гости, Торцовъ чрезвычайно смутился, заставъ дома русское веселье на старый ладъ; онъ грубо выгоняетъ ряженыхъ, приказываетъ женѣ гнать пѣвшихъ пѣсни дѣвушекъ. „Зарѣзала ты меня!“ (шепчетъ онъ Целагее Егоровнѣ) и начинаетъ извиняться и оправдываться передъ просвѣщеннымъ гостемъ:

Мнѣ только конфузно передъ тобою! Но ты не заключай изъ этого про наше необразованіе — вотъ все жена. Никакъ не могу вбить ей въ голову...

и онъ читаетъ тутъ-же женѣ наставленіе:

Сколько разъ я говорилъ тебѣ: хочешь сдѣлать у себя вечеръ, позови музыкантовъ, чтобы это было по всей формѣ. Кажется, тебѣ ни въ чемъ отказу нѣтъ. (38).

Целагея Егоровна хочетъ попотчивать гостя мадерой, — это окончательно конфузить Гордѣя Карпыча:

Жена! Съ-ума что-ли сошла, въ самомъ дѣлѣ? Не видывалъ Африканъ Савичъ твоей мадеры-то!

и онъ приказываетъ подать полдюжины шампанскаго, да не здѣсь, а въ гостиной, гдѣ „новая небель“ поставлена; а чтобы эта „небель“ была виднѣй, велитъ зажечь въ гостиной всѣ свѣчи, — „тамъ совсѣмъ другой эффектъ будетъ“, говоритъ онъ.

Вотъ какія у нихъ понятія о жизни! (Удивляется онъ на жену):

Свои собственные понятія о жизни и просвѣщеніи онъ очень простодушно и наивно высказываетъ, поучая приказчика Митю. Зайдя въ контору въ то время, какъ Митя, Гуслинъ и Разлюляевъ пѣли пѣсню, Гордѣй Карпычъ кричитъ на молодыхъ людей:

Что распѣлись! Горланять, точно мужичье! Кажется, не въ такомъ домѣ живешь, не у мужиковъ. Что за полпивная! Чтобы у меня этого не было впредѣ!

Замѣтивъ на столѣ тетрадь, въ которую Митя переписывалъ стихи Кольцова, Торцовъ иронически говоритъ: „какія нѣжности при нашей бѣдности!“ А на поясненіе Мити: „собственно для образованія своего занимаюсь, чтобъ имѣть понятіе“—начинаетъ поучать, глупо и самодурно:

Образованіе! Знаешь ли ты, что такое образованіе?.. А еще туда-же разговариваетъ! Ты бы вотъ сертучишко новенькій сшилъ!.. Куда деньги-то дѣваешь?

Митя отвѣчаетъ, что посылаетъ матери.

Матери посылаешь! Ты себя-то-бы образилъ прежде; матери-то не Богъ знаетъ что нужно, не въ роскоши воспитана; чай сама хлѣвы затворяла Стихи пишетъ, образованіе себя хочетъ, а самъ какъ фабричный ходитъ! Развѣ въ этомъ образованіе-то состоитъ, что дурацкія пѣсни пѣть? То-то глупо-то! Дуракъ!

Въ концѣ комедіи, подвыпивши съ Коршуновымъ, Гордѣй Карпычъ, воображающій о себѣ, что уже достигъ вершинъ просвѣщенія, обращается къ будущему зятю своему съ рѣшительнымъ вопросомъ: „ну, зятюшка, что скажешь?.. можешь ты меня теперь понимать?“ и когда тотъ медлитъ отвѣтомъ, начинаетъ самъ произносить себѣ похвальный приговоръ: его, оказывается, не могутъ понять въ окружающей его жизни, потому что у него все какъ слѣдуетъ, „все въ порядкѣ“: въ другомъ домѣ за столомъ прислуживаетъ „молодецъ въ поддевкѣ, либо

дѣвка“, а у него „фицыантъ въ нитяныхъ перчаткахъ“, ученый, изъ Москвы, знающій—гдѣ кому сѣсть и что дѣлать. У другихъ людей пьютъ „наливки тамъ и вишневки разныя“... а у него шампанское.

Охъ, (заключаетъ онъ), если-бъ мнѣ жить въ Москвѣ, али-бы въ Питербурхѣ, я-бы, кажется, всякую моду подражалъ. (56).

Замѣчательно, что въ самое это время похвальбы своимъ „образованіемъ“, Гордѣй Карпычъ совершенно наивно проговаривается, что въ-сущности всѣ эти моды, шампанское, фицыанты и небель—вовсе не такъ ему и нравится; перенялъ онъ все это по глупому подражанію, да изъ самодурнаго каприза; а ему то самому нравится то-же, что и женѣ его,—простая жизнь, простое русское веселье; но только онъ считаетъ это (почему—и самъ не знаетъ) за недостойное его.

У другихъ что! (наивно разсуждаетъ онъ). Соберутся въ одну комнату, усядутся въ кружокъ, пѣсни запоютъ мужицкія. *Оно, конечно, и весело*, да я считаю такъ, что это низко, никакого тону нѣтъ. (56).

Гордѣй Карпычъ и прежде былъ крутаго нраву, а теперь, перенявъ „всякую моду“, онъ совсѣмъ опалѣлъ. Чтобы сблизиться съ Коршуновымъ, онъ, безъ всякаго смысла и разсужденія, не думая—что за человекъ Коршуновъ и видя въ немъ только примѣръ для себя въ перениманіи моды, рѣшаетъ выдать за него дочь. На просьбы жены—одуматься, не шутить надъ материнскимъ сердцемъ, не терзать его—онъ отвѣчаетъ:

Жена, ты меня знаешь!.. Ты, Африканъ Савичъ, не безпокойся: у меня связано—сдѣлано. (43).

На мольбы дочери—пожалѣть ее, не губить ея молодости—онъ глупо соблазняетъ ее модной жизнью: дура, въ Москвѣ „будешь по-барски жить... на виду“; и за-

канчиваетъ самодурнымъ заявленіемъ: „а другое дѣло—я такъ приказываю“.—Передъ Гордѣемъ Карпычемъ домашніе послѣ этого не смѣютъ и пикнуть.

Принципъ родительской власти выразился въ лицѣ Гордѣя Торцова въ формахъ противоположныхъ тѣмъ, въ какихъ мы видѣли его въ личности Русакова въ „Саняхъ“. Русаковъ тоже говоритъ домашнимъ: да какъ вы смѣете со мной такъ разговаривать; но говорить это какъ обычную фразу быта, и онъ никогда не прибѣгаетъ къ насилію; за отцомъ, по его понятію, есть право любви, право совѣта, руководства и согласія, а не игры судьбою дочери. Даже Большовъ въ „Своихъ людяхъ“, выражаясь: мое дитя, хочу съ кашей ѣмъ, хочу масло пахтаю,—больше хвастаетъ своимъ произволомъ, чѣмъ способенъ примѣнить его къ дѣлу. Но Гордѣй Карпычъ легко могъ-бы погубить дочь по своему неразумному и дикому „я такъ хочу“.

Совершенно противоположна ему по характеру жена его—*Пелагея Егоровна*. Она безконечно и нѣжно любитъ свою дочь, какъ Аграфена Кондратьевна (въ „Своихъ людяхъ“) свою Липочку; и въ этомъ смыслѣ ихъ можно бы сравнить; но Аграфена Кондратьевна—личность глупая и комическая; Пелагея Егоровна—умна и привлекаетъ къ себѣ полную нашу симпатію.—Въ противоположность мужу, который разлюбилъ все русское, она любитъ родную жизнь, родные обычаи:

Модное-то ваше да нынѣшнее (говоритъ она Гордѣю Карпычу)...
каждый день мѣняется, а русскій-то нашъ обычай испоконъ вѣку
жить! Старики-то не глупѣй насъ были (5).

Она понимаетъ всю нелѣпость подражательныхъ затѣй Гордѣя Карпыча:

И что это съ нимъ сдѣлалось? (бесѣдуетъ она о мужѣ съ Митей).
Да, вѣдь, вдругъ, любезненькій, вдругъ! То все-таки рассудокъ

имѣлъ. Ну, жили мы, конечно, не роскошно, а все-таки такъ, что дай Богъ всякому; а вотъ въ прошломъ году въ отъѣздъ ѣздилъ да перенялъ у кого-то..... Какъ таки разсудку не имѣть!.. Ну еще кабы молоденькій: молоденькому это и нарядиться. и все это лестно: а то вѣдь подъ шестьдесятъ! Миленькій, подъ шестьдесятъ! (5).

Пелагея Егоровна сочувственно относится къ молодежи, къ ея радостямъ и веселью; и сама она живая и веселая. „Я молодая-то была первая затѣйница—и попѣть, и поплясать ужъ меня взять“, говоритъ она своимъ эпическимъ старушкамъ-гостямъ. И она устраиваетъ для любимой дочки на святкахъ пѣсни и праздники, и сама зоветъ на этотъ праздникъ Митю, Гуслина, Разлюляева.

Я, матушка, люблю по-старому, по старому... да, по нашему, по-русскому..... я веселая... да... чтобъ попотчивать, да чтобъ мнѣ пѣсни пѣли.... (31).

Пелагея Егоровна, опять въ противоположность мужу, чужда всякой гордости и чванства. Любя дочь гораздо больше, чѣмъ Гордѣй Карпычъ, она, однако, не думаетъ, что для нея нѣтъ ровни среди окружающихъ ихъ семейство людей; она-бы съ радостью, по первому слову, отдала Любушку за прикащика Митю, потому что та его любитъ и потому что онъ хорошій человекъ. Узнавъ отъ Мити, съ горя уѣзжающаго, когда просватали Любовъ Гордѣевну, что онъ столковался было съ Любушкой—идти къ родителямъ просить благословенія на бракъ,—она жалѣетъ не только дочку, но и Митю, жалѣетъ какъ родная мать.

Ахъ ты, сердечный! (говорить она). Экой ты горькій паренекъ-то, какъ я на тебя посмотрю!

Митя не ошибся, когда открылъ ей свою душу; онъ не даромъ сказалъ:

Я такую въ васъ вѣру, Пелагея Егоровна, взялъ, что все равно какъ матушкѣ своей родной отерюсь. (50).

Гордѣй Карпычъ „истомилъ“ ей „всю душу“ своимъ глупымъ замысломъ отдать дочку за Коршунова. Пелагея Егоровна тяжело тоскуетъ по Любушкѣ.

„Глаза-то всѣ проглядѣла, на нее гляючи! говорить она). Хоть-бы теперь-то наглядѣться на нее про запасъ. Точно я ее хоронить собираюсь. (49).

Какой это женихъ, какой женихъ... ахъ, ахъ, ахъ! (жалуется она). Гдѣ тутъ любви ждать!... На богатство, что-ли, она польстится?.. Она теперь дѣвушка въ самой порѣ, сердчишко, вѣдь, тоже, чай, бьется иногда. Ей-бы теперь хоть бѣдненькаго, да друга милаго... Вотъ-бы и житье... вотъ-бы и рай... (46—47).

Любовь Пелагеи Егоровны къ дочери такъ велика, что, когда Митя предлагаетъ увезти Любовь Гордѣвну и тайно обвѣнчаться, она, сначала удивившись и даже ужаснувшись его предложенію, сначала сказавъ: „что ты, безпутный, выдумалъ-то! да кто-жъ это посмѣетъ такой грѣхъ на душу взять?“ „да какъ-же безъ отцовскаго-то благословенія! ну, какъ-же, ты самъ посуди?“—потомъ почти готова согласиться съ Митей и одна благословить его на бракъ съ Любушкой.

Но при всей нѣжности своей любви къ дочери, при всей ясности своего здраваго ума, Пелагея Егоровна не обладаетъ волей, у нея нѣтъ энергіи,—и она безсильна передъ самодурствомъ мужа.

Знаю я (говорить она Митѣ), все знаю, да говорю-жъ я тебѣ, что не моя воля. (50).

Что-жъ я! (обращается она съ словами состраданія и ласки къ дочери). Вотъ поплакать наше дѣло, а власти надъ дочерью никакой не имѣю! А хорошо-бы! Полюбовалась-бы на старости... Ужь какъ погляжу я на тебя, дѣвушка, какъ тебѣ не грустить... да помочь-то мнѣ тебѣ, сердечная, нечѣмъ! (53).

Недостатокъ энергіи и дѣлаетъ Пелагею Егоровну игралищемъ самодурнаго произвола мужа, и въ этомъ смыслѣ личностью забитою и приниженною.—Здѣсь, конечно, играетъ роль и законъ, въ который вѣрится среда, воспитавшая и Гордѣя Карпыча, и Пелагею Егоровну, законъ—безусловнаго и слѣпаго повиновенія жены мужу. Но нельзя не замѣтить, что этотъ законъ далеко не всегда соблюдается въ вѣрящемъ въ него бытѣ, и самое вѣрованіе въ него не безусловно крѣпко. Не только такіе люди, какъ Русаковъ, но даже и Большовы не исполнѣ ему слѣдуютъ. Другое дѣло, конечно, Гордѣи Торповы, но и то если они не встрѣчаютъ энергическаго отпора своему неразумному произволу.

Отсутствіе этого энергическаго отпора, слабость воли имѣютъ большое значеніе и въ отношеніяхъ (въ быту Торповыхъ) младшаго поколѣнія къ старшему.

Въ этомъ смыслѣ приниженными оказываются въ комедіи „Бѣдность не порокъ“ *Любовь Гордѣевна* и *Митя*.— Но это люди вовсе не забытые и не обезличенные, какъ ихъ представляютъ себѣ послѣдователи критика „темнаго царства“. Внутренняя жизнь, душевный міръ этихъ людей—полны, и разносторонни, и глубоки.

Любовь Гордѣевна—очень поэтическая личность, тихая и кроткая, ласковая, задушевная. Она полюбила Митю, онъ пришелся ей по-сердцу. потому что онъ тихій да сиротливый,—и она изольетъ на него весь запасъ своей душевной нѣжности. Она скромна и стыдлива, и потому таитъ свое чувство; но она въ то-же время искренна, правдива. Съ затаенной радостью и съ притворной внѣшней гордостью относится она къ стихамъ Мити, посвященнымъ ей, а прочитавъ эти стихи, сама пишетъ ему въ отвѣтъ довѣрчивое признаніе въ любви, наивно-граціозно и по-дѣтски пошутивъ при этомъ: „только пальцы всѣ выпачкала; кабы

знала, лучше-бы не писала“.—Съ ласковой довѣрчивостію открываетъ она свою тайну Аннѣ Ивановнѣ, и при этомъ тоскливо высказываетъ предчувствіе грозящихъ бѣдъ:

Что ваша любовь? Какъ былинка въ полѣ: не расцвѣтетъ путемъ—да и поблкнетъ. (25).

Любовь Гордѣвну нельзя соблазнить приманками роскоши: „не нужно мнѣ вашихъ денегъ“, говоритъ она Коршунову, думающему поразить ее размѣрами своего капитала. Ее и обмануть нельзя,—она умна: когда Коршуновъ пытается доказать ей, что есть много выгодъ—выйти за старика, что старикъ-то и подарочки будетъ дѣлать, и ревновать-то его женѣ не придется (а ревность—страшное дѣло) и т. д., она опрокидываетъ все его хитросплетенныя разсужденія простымъ вопросомъ: „а васъ та жена, покойная, любила?“ Она выводитъ изъ себя Коршунова этимъ вопросомъ, и потомъ, на его злыя слова, что не любила, да и онъ ее не любилъ, потому что она того не стоила—онъ взялъ ее бѣдную, нищую,—на эти злыя слова замѣчаетъ: „любви золотомъ не купишь“.

Но, кроткая и смиренная, Любовь Гордѣвна не можетъ дать никакого отпора самодурному произволу. На глупое и безсознательно жестокое намѣреніе отца выдать ее за Коршунова, она въ силахъ только отвѣтить тихой мольбою:

Тягенька! Я изъ твоей воли ни на шагъ не выйду. Пожалѣй ты меня, бѣдную, не губи мою молодость!... Что хочешь меня заставить, только не принуждай ты меня противъ сердца замужъ идти за немиллаго!... (43—44).

„Я своего слова назадъ не беру“, безсердечно возражаетъ на это Гордѣй Карпычъ. „Твоя воля, ба-

тюшка!—произносить бѣдная дѣвушка, рѣшая этимъ свою судьбу, высказывая приговоръ своему счастью и своей жизни.

Но должно замѣтить, что не одинъ недостатокъ энергии руководить въ данномъ случаѣ душою Любови Гордѣвны: она потому еще не противится волѣ отца, что такое противленіе считаетъ грѣхомъ, нарушеніемъ нравственнаго закона. Когда Митя предлагаетъ ей бѣжать съ нимъ и тайно обвѣнчаться, она рѣшительно и безповоротно (гораздо рѣшительнѣй матери) отвергаетъ эту мысль:

Нѣтъ, Митя, не бываетъ этому! Не томи себя понапрасну, перестань. Не надрывай мою душу! И такъ мое сердце все изныло во мнѣ. Побѣждай съ Богомъ. Прощай!

„За что-жь ты меня обманывала, надо мной издѣвлялась?“ горько замѣчаетъ ей Митя.

Что мнѣ тебя обманывать? зачѣмъ? (говоритъ она). Я тебя полюбила, такъ сама-же тебѣ сказала. А теперь изъ воли родительской мнѣ выходить не должно. На то есть воля батюшкина, чтобъ я шла замужъ. Должна я ему покориться, такая наша доля дѣвичья. Такъ, знать, тому и быть должно, такъ ужъ оно заведено изстари. Не хочу я супротивъ отца идти, чтобъ про меня люди не говорили да и въ примѣръ не ставили. Хотя я, можетъ быть, сердце свое надорвала черезъ это, да по-крайности я знаю что я по закону живу, никто мнѣ въ глаза насмѣяться не смѣетъ, Прощай! (52).

Митя какъ-будто не соглашается съ подобными мыслями Любови Гордѣвны, Митя предлагалъ ей иной образъ дѣйствій; но въ-сущности онъ такой-же человѣкъ какъ и она. Онъ и Любовь Гордѣвна—натуры родственныя, и удивительно гармоническое впечатлѣніе производитъ взаимная любовь этихъ близкихъ другъ къ другу по душѣ людей.

Митя—человѣкъ съ добрымъ и нѣжнымъ сердцемъ,

кроткій нравомъ и одаренный поэтическими инстинктами и стремленіями. Въ немъ пробуждены умственные интересы, онъ стремится къ образованію; но болѣе всего его занимаетъ поэзія; читая и переписывая Кольцова, онъ и самъ, по примѣру народнаго поэта-самоучки, начинаетъ писать стихи, и стихи эти, согрѣтые истиннымъ и чистымъ чувствомъ, выходятъ очень недурными; таково напр. его поэтическое признаніе въ любви:

Не цвѣточекъ въ полѣ вянеть, не былинка...

Митя чистъ душою: онъ благоговѣнно уважаетъ любимую имъ дѣвушку,—и боится и не смѣетъ повѣрить своему счастью, счастью взаимной привязанности; робко разворачиваетъ онъ и читаетъ письмо Любви Гордѣвны робко допрашиваетъ онъ ее—какъ надо понимать это письмо: въ правду или въ шутку? и только затѣмъ уже, успокоенный ея отвѣтами, съ полною вѣрой, безповоротно, навѣки отдаетъ ей свою душу.

Но, умѣя любить безпредѣльно, онъ не умѣетъ и не можетъ защитить любимое существо. Когда любовь Гордѣвну просватали, онъ рѣшается уѣхать изъ дому Тороповыхъ къ матери, не сдѣлавъ ни малѣйшей попытки спасти безконечно имъ любимую дѣвушку.

Правда, онъ въ минуту прощанія вдругъ надумываетъ смѣлое дѣло—увести Любушку. Но какъ быстро явилось въ душѣ это намѣреніе—такъ быстро и безслѣдно оно и исчезаетъ. Намѣреніе это—не твердое и обдуманное рѣшеніе энергическаго человѣка, а мгновенный и поверхностный порывъ мечтательной натуры, порывъ не могущій поэтому и привести къ какому-нибудь практическому результату. О его неосновательности свидѣтельствуютъ и самыя выраженія, въ которыхъ Митя высказываетъ свою мысль:

Пусть выйдет потихоньку (говорить онъ, обращаясь къ Пелагеѣ Егоровнѣ): посажу я ее въ саночки-самоваточки—да и былъ таковъ! Не видать тогда ее старому какъ ушей своихъ, а моей головѣ за одно ужъ погибать! Увезу ее къ матушкѣ—да и повѣнчаемся. Эхъ! дайте душѣ просторъ—разгуляться хочеть! По-крайности, коли придется и въ отвѣтъ идти, такъ ужъ то буду знать, что потѣшился. (51).

Твердое и энергическое рѣшеніе не выражается такъ экзальтировано,—оно проще и спокойнѣе.—И въ самомъ дѣлѣ. Митя сейчасъ-же отступается отъ своей мысли: „Ну, знать не судьба!“ говоритъ онъ Любви Гордѣвнѣ. Мгновенный порывъ мгновенно же и исчезъ.

И такъ, передъ нами въ комедіи съ одной стороны—хорошіе, умные, сердечные, но лишенные энергіи люди: Пелагея Егоровна, Любовь Гордѣвна, Митя; съ другой стороны — крѣпколобый самодуръ Торцовъ, руководящійся единственнымъ понятнымъ ему правиломъ жизни: „я такъ хочу“.—И передъ этими людьми стоятъ два нравственныхъ закона быта: жена должна повиноваться мужу, дѣти — родителямъ. Самодуръ объясняетъ эти законы въ томъ смыслѣ, что все, что ему взбредеть на-умъ, хотя-бы съ-пьяну, должно быть безпрекословно исполняемо домашними; эти же послѣдніе понимаютъ дѣло такъ, что ихъ долгъ слѣпо повиноваться своему владыкѣ.—Комедія была бы не комедіей, а страшной драмой, если-бы разыгралась только между четырьмя поименованными лицами.—Но явился энергическій человекъ—и все измѣнилось, и погибавшіе спасены отъ гибели, и самодуръ остановленъ на краю нравственной пропасти.

Любимъ Торцовъ тоже признаетъ эти законы, объ отношеніяхъ членовъ семьи другъ къ другу, обязательными для всякаго человека. Но онъ силенъ волею, онъ

можетъ дѣйствовать энергично,—и жизнь направлена имъ по надлежащему руслу.

Любимъ Торцовъ былъ истинный братъ Гордѣя Карпыча. Получивъ свою долю наслѣдства отца, онъ тотчасъ-же, какъ и братъ, самодурно пожелалъ „всякую моду подражать“, потому что (поясняетъ онъ) „въ головѣ-то, какъ въ пустомъ чердакѣ, вѣтеръ такъ и ходилъ!“ Человекъ даровитый, болѣе отзывчивый и чуткій на все, чѣмъ Гордѣй Карпычъ, онъ не захотѣлъ ограничиться поставленіемъ „небели“ въ гостиной, да наемомъ „фицыанта“ въ нитяныхъ перчаткахъ,—а самъ отправился въ Москву „людей посмотрѣть, себя показать, высокаго тону набратъся“.

Опять же я (разсказываетъ онъ про себя, Митѣ) такой прекрасный молодой человекъ, а еще свѣту не видывалъ, въ частномъ домѣ не ночевывалъ. Надобно до всего дойти.

И вотъ онъ одѣлся франтомъ, завелъ себѣ пріятелей и друзей „хоть прудъ пруди“,—и загулялъ съ ними по трактирамъ.

Правда, и въ это время уже сказалась, безсознательно конечно, одна благородная черта въ его характерѣ—любовь къ театру:

Я все трагедіи ходилъ смотрѣть (говорить онъ): очень любилъ.

Только ничего изъ этого не могло выдти:

не видалъ ничего путемъ (поясняетъ самъ Любимъ Карпычъ), и не помню ничего, потому что больше все пьяный. (21).

Прогулялъ онъ такимъ образомъ все состояніе—и пришлось ему бѣдствовать: и голодалъ онъ, и шута изъ себя представлялъ на потѣху купцамъ. Но здѣсь и граница его самодурствованію: несчастье его отрезвило и физически, и нравственно. Простудившись на морозѣ, попалъ онъ въ больницу—и тамъ очнулся.

Какъ сталъ я выздоравливать (разсказываетъ онъ) да въ разсудокъ входить, хмѣлю-то нѣтъ въ головѣ—страхъ на меня напалъ, ужасъ на меня напалъ!... Какъ я жилъ? Что я за дѣла дѣлалъ? Сталъ я тосковать, да такъ тосковать, что, кажется, умереть лучше. (23).

Любимъ Карпычъ заболѣлъ благородной тоскою—тоскою по роднымъ идеаламъ,—по честномъ трудѣ, по забытому имъ семейному началу, по семейной жизни. Онъ отправился къ брату, надѣясь пристроиться у того въ какой-нибудь должности, хоть въ дворникахъ.

Разочарованіе въ братѣ и въ первой попыткѣ возвращенія на прямой путь пошатнуло нѣсколько Любима Карпыча: „я опять сталъ зашибаться немного“ (говоритъ онъ); но воскресшая въ душѣ правда уже не умирала, тѣмъ болѣе, что Любимъ Карпычъ глубоко смирился:

„Что за злоба (говоритъ онъ Коршунову). Я тебѣ давно простилъ Я человекъ маленькій, червякъ ползущій, ничтожество изъ ничтожествъ! Ты другимъ-то не дѣлай зла“. (61).

Любимъ Карпычъ задумываетъ спасти племянницу отъ Коршунова, устроить счастье ея и Мити и образумить опалѣвшаго брата.

Умно и энергически принимается онъ за дѣло. Съ благородной прямою въ глаза обличаетъ онъ Коршунова и правильно рассчитываетъ на взрывъ самодурства Гордѣя Карпыча, когда невладѣющій собою Коршуновъ задѣнетъ того за-живое. Такъ и случается. Взбѣшенный Коршуновъ отказывается отъ невѣсты:

„Ты теперь приди-ка ко мнѣ да поклоняйся, чтобъ я дочь-то твою взялъ... Тебѣ нужно свадьбу сдѣлать: хоть въ петлю лѣзть, да только-бъ весь городъ удивить, а жениховъ-то нѣтъ. Вотъ несчастье-то твое“.

говоритъ онъ Гордѣю. „Я къ тебѣ пойду кланяться?“ кричитъ Гордѣй Карпычъ. Да я,

„коли на то пошло, за кого вздумается, за того и отдамъ!... Вотъ за Митьку отдамъ!... Да такую свадьбу задамъ, что ты не видывалъ: изъ Москвы музыкантовъ выпишу, одишь въ четырехъ каретахъ поѣду.“ (62—63).

Съ Коршуновымъ кончено. Надо устроить теперь дѣло Мити и Любви Гордѣевны.—И здѣсь Любимъ Карпычъ перемѣняетъ способъ дѣйствія: онъ вѣрить, что въ душѣ брата есть еще благородныя чувства, что у него не умерли сердце и совѣсть.

Человѣкъ ты или звѣрь? (говорить онъ Гордѣю Карпычу, становясь передъ нимъ на колѣни). Пожалѣй ты и Любима Торцова! Братъ, отдай Любушку за Митю—онъ мнѣ уголь дастъ. Назаябся ужъ я, наголодался. Лѣта мои прошли, тяжело ужъ мнѣ паясничать на морозѣ-то изъ-за куска хлѣба; хоть подъ старость-то да честно пожить. Вѣдь я народъ обманывалъ; просилъ милостыню, а самъ пропивалъ. Мнѣ работишку дадутъ: у меня будетъ свой горшокъ щей. Тогда-то я Бога возблагодарю. Братъ! и моя слеза до неба дойдетъ. Что онъ бѣденъ-то! Эхъ, кабы я бѣденъ былъ, а бы человѣкъ былъ. Бѣдность не порокъ. (65).

Отъ сердца сказанное слово и дошло до сердца: Гордѣй Карпычъ очнулся.

Гордѣй Карпычъ, неужели въ тебѣ чувства нѣтъ? (поддержала Любима Целая Егоровна).

„А вы и въ самомъ дѣлѣ думали, что нѣтъ?! (говорить Гордѣй Карпычъ). Ну, братъ, спасибо, что на умъ наставилъ, а то было свихнулся совѣсть. Не знаю, какъ и въ голову вошла такая гнилая фантазія... Ну, дѣти, скажите спасибо дядѣ Любиму Карпычу да живите счастливо“. (65).

Радостное окончаніе пьесы поясняетъ намъ ея внутренній смыслъ, показываетъ намъ и взглядъ поэта на изображаемый имъ міръ, и его отношенія къ своимъ героямъ.

Жизнь запуталась, вслѣдствіе глупаго увлеченія внѣшнимъ лоскомъ образованія ограниченнаго самодура Торцова; желаніе его „всякую моду подражать“ чуть не

сдѣлало его „извергомъ“ (по его собственному выраженію) и чуть не погубило всю семью. Но Торцовъ не злодѣй: въ душѣ его есть добро, и не очерствѣло окончательно его сердце. Когда явился человѣкъ энергическій и умный—все дѣло оказалось поправленнымъ. Любимъ Торцовъ образумилъ брата и спасъ племянницу и Митю, создалъ для нихъ возможность тихой и радостной семейной жизни, жизни, въ которой и ему найдется уголокъ. Жизнь народная оказалась, по взгляду поэта, высокой и прекрасной; ей вредить податливость на всякія дурныя вліянія, но въ собственныхъ нѣдрахъ своихъ находитъ она и исцѣленіе отъ недуговъ: Любимы Торцовы поддерживаютъ своею энергіею слабыхъ волею, слабыхъ духомъ и умѣютъ разумомъ обуздать самовольный произволъ самодуровъ и пробудить въ послѣднихъ человѣческое чувство.

Не обличителемъ, а горячимъ энтузіастомъ является Островскій въ комедіяхъ „Сани“ и „Бѣдность не порокъ“. Онъ можетъ быть даже идеализируетъ народную жизнь, указывая какъ на нѣчто несомнѣнное на появленіе въ ней во-время сильныхъ духомъ людей. Онъ какъ будто закрываетъ глаза на возможность иного исхода драмы, на возможность людской гибели вслѣдствіе безволія однихъ и самовольства другихъ. Онъ какъ будто закрываетъ глаза и на то, что самъ его энергическій герой Любимъ Торцовъ не цѣльнымъ вышелъ изъ жизненныхъ увлеченій, а сильно затронутымъ и помятымъ той самой ложью внѣшней образованности, которая чуть не погубила всѣхъ лицъ комедіи. Спасеніе племянницы и Мити есть, можетъ быть, послѣдній порывъ надорванной и изнемогшей, въ-сущности погибшей безцѣльно великой силы Любима Торцова.

ГЛАВА V.

„Не такъ живи какъ хочется“.

Двѣ разсмотрѣнныя комедіи—„Не въ свои сани не садись“ и „Бѣдность не порокъ“—рисуютъ въ чертахъ симпатичныхъ и привлекательныхъ семейное начало и народный бытъ съ его обрядами, обычаями, пѣснями. Начало личное играетъ въ этихъ пьесахъ небольшую роль. Правда, представитель его Любимъ Торцовъ возстановляетъ миръ въ семьѣ брата и даже болѣе—спасаетъ всю семью отъ гибели; но Любимъ силенъ не столько личною силой, сколько тѣмъ, что отрекся отъ лжи подражательности (чуть не погубившей брата его—Гордѣя), нашелъ въ себѣ правду народныхъ, семейныхъ идеаловъ и всею душой стремится къ ихъ осуществленію въ дѣйствительности.—„Сани“ и „Бѣдность не порокъ“—это апофеозъ семейнаго начала.

Шире и многостороннѣе захватываетъ поэтъ жизнь въ драмѣ „*Не такъ живи какъ хочется*“. Здѣсь передъ нами и высшее начало русской жизни—религіозное, въ полуаскетическихъ формахъ, и начало низшее—въ формахъ чувственного разгула; здѣсь и семейная стихія, и возстающая противъ нея гордая самовольная личность. — Идея драмы—очень глубокая: поэтъ пытается разобраться въ тѣхъ разнообразныхъ жизненныхъ элементахъ, ко-

торые ясно предстали его душевному взору, доискаться въ нихъ истины и правды.

Но, гениальная по замыслу, трагедія „Не такъ живи какъ хочется“, по справедливому замѣчанію Апол. Григорьева, не доношена авторомъ въ душѣ, и явилась въ свѣтъ созданіемъ недозрѣлымъ. Въ самомъ дѣлѣ, изображенныя въ ней стихіи жизни порой только намѣчены; такъ напр. стихія религіозная является въ блѣдномъ очеркѣ старика Ильи, начало чувственное въ неясной личности Еремки. Недозрѣлость произведенія сказалась и въ томъ, что поэтъ измѣнилъ его прежнее окончаніе, измѣнилъ подъ вліяніями взглядовъ славянофиловъ, съ которыми онъ въ пору написанія пьесы былъ близокъ: Петръ Ильичъ очнулся на берегу проруби, пробужденный изъ своего страстнаго увлеченія благовѣстомъ, — этимъ оканчивается пьеса теперь; прежде конецъ ея былъ трагическій.

Представитель, выразитель религіознаго начала въ драмѣ—старикъ *Илья*.—Онъ изображенъ поэтомъ очень неопредѣленно. Илья отказался отъ мірской суеты и ушелъ жить въ монастырь. „Какое житье въ міру-то нынче? (разсуждаетъ онъ). Только соблазнъ одинъ“. Онъ говоритъ, что съ тѣхъ поръ лишь свѣтъ увидалъ, какъ поселился въ кельѣ у брата.—Илья возмущенъ загуломъ сына и его ссорами съ женой. „Живи по закону, какъ люди живутъ“ (учитъ онъ Петра), а

своя-то воля въ пропасть ведетъ. Доброму одна дорога, а развращенному десять. Узкій и прискорбный путь вводитъ въ жизнь, а широкій и пространнй вводитъ въ пагубу.

Не для веселья мы на свѣтѣ живемъ. Не подъ старость, а съ молодю добрыми дѣлами-то запасаются. (II, 71—72).

Уходя отъ сына передъ великимъ постомъ, Илья не велитъ навѣщать себя („мнѣ и такъ суета надоѣла“) и

общаетъ лишь въ томъ случаѣ придти о праздникѣ, если Петръ съ женой будутъ жить хорошо. Онъ даетъ сыну грозное наставленіе:

Петръ! передъ твоими ногами бездна разверстая. Кто впалъ въ гульбу да въ распутство, отъ того благодать отступаетъ, а враги человѣческіе возрадуются, что ихъ волю творить, и приступаютъ, поучая на зло, на гнѣвъ, на ненависть, на волхвованіе и на всякія козни. И таковымъ одна часть со врагомъ. Выбирай, что лучше: либо жить честно, въ любви у отца, съ душой своей въ мирѣ, съ благодатію въ домѣ; либо жить весело, на смѣхъ и покоръ людямъ, на горе роднымъ, на радость врагу человѣковъ. Прощайте! Петръ, наступаютъ дни великіе, страшные, опомнись. Вотъ тебѣ мой приказъ, родительскій приказъ, грозный: опомнись, загляни на себя!

Илья отказывается благословить сына съ неvěсткой, пока они живутъ дурно.

Порадуй меня, Петръ! (говорить старикъ, уходя). Лучше со-
всѣмъ не жить, чѣмъ жить такъ, какъ ты живешь. (73).

Выраженіемъ начала противоположнаго, злаго и чув-
ственного, является въ драмѣ эскизно обрисованный
калѣка-кузнецъ *Еремка*. Его подозреваютъ въ сноше-
ніяхъ съ нечистою силой. Груша рассказываетъ про
него Петру Ильичу:

Вотъ у насъ кузнецъ Еремка все этакъ душой-то своей клялся,
въ трепсодию себя проклиналъ... Ну, что-жь, сударь ты мой..
Такая-то страсть!.. И завелъ его на сѣноваль подъ крышу. Насилу
стасили, всего скорчило. Ужь такой-то этотъ Еремка распостылый!
Какихъ бѣдъ съ нимъ не было! Два раза изъ проруби вытаскивали,
а все ему какъ съ гуся вода. (87).

Еремка — любитель выпить, полу-шутливый, полу-
циническій ухаживатель за дѣвушками. Оставшись на
постояломъ дворѣ, по отѣздѣ Груши и ея подругъ, на-
единѣ съ Петромъ Ильичемъ, Еремка предлагаетъ ему

поколдовать, потѣшаетъ его цинически-насмѣшливой загадочной пѣсенкой, зоветъ въ безумный разгулъ:

я тебѣ такія мѣста покажу (говорить онъ), только ухъ! Дымъ коро-
мысломъ. Только деньги припасай. (108),

а потомъ научаетъ „какъ жену извести“, наталкиваетъ его на убійство.

Нельзя не пожалѣть, что Илья и Еремка, олицетворяющіе собою двѣ противоположныя стихіи жизни, очерчены поэтомъ такъ слегка, такъ неопредѣленно и блѣдно; изображенные иначе, они могли-бы производить потрясающее впечатлѣніе.

Ярче и жизненнѣе ихъ обоихъ герой пьесы *Петръ Ильичъ*. Это представитель въ драмѣ личнаго, самовольнаго человѣческаго начала. Петръ Ильичъ нарушилъ мирное, спокойное теченіе, тихое счастье семейной жизни, тайкомъ увезя у родителей дочку-дѣвушку, которую онъ полюбилъ. Расходившійся произволь не останавливается: Петръ Ильичъ начинаетъ разрушать и другую семью—свою собственную, онъ враждуетъ и ссорится съ прежде любимой женой, онъ предается разгулу.

Отцу супротивникъ, жену замучилъ! (говорить про него тетка).
...Въ кого такой уродился? Теперь дни прощенные, и чужіе мирятся,
а у нихъ и встаючи, и ложаючись брань да переборъ.

Своевольщина-то и все такъ живетъ (замѣчаетъ ему отецъ).

А онъ возражаетъ: „Мнѣ что за дѣло, какъ люди живутъ; я живу какъ мнѣ хочется“. „Проживемъ какъ-нибудь—своимъ умомъ, не чужимъ“ (прибавляетъ онъ далѣе).

Пріѣхавъ съ гулянки домой, онъ требуетъ вина, а на жалобы и просьбы домашнихъ: „посиди дома-то хоть немножко“—самодурно кричитъ:

Нечего мнѣ дома дѣлать, здѣсь угарно.

— Какой угаръ? Что ты выдумалъ!

А я говорю, что угарно, такъ и будь по-моему! (75).

Ошалѣлый отъ загула, онъ удивляется на самого себя:

Эхъ,шибко голова болить! Скружился я совсѣмъ! (Задумывается). Аль погулять еще? Дома-то тоска. Спуталъ я себя по рукамъ и по ногамъ! Кабы не баба эта у меня плакса, погулялъ-бы я, показалъ-бы себя. Что во мнѣ удали, такъ на десять человѣкъ хватить! (76).

И онъ ѣдетъ изъ дому на борзомъ ворономъ жеребцѣ, съ писаной дугою, на постоянный дворъ, къ Грушѣ, къ своей „кралечкѣ“, какъ онъ выражается.

Безудержно предался онъ страсти къ этой Грушѣ—и возненавидѣлъ жену: „Не кажись ты мнѣ! (говорить онъ этой послѣдней). Ишь ты глаза-то скосила!.. Точно яду подаешь! Пить-то изъ твоихъ рукъ не хочу!“

Онъ сказался Грушѣ холостымъ, и грозить Васѣ убить его, если тотъ откроетъ Грушѣ или женѣ истину. Страсть его—мрачная и суровая:

„Надоть такъ думать, ты меня приворожила чѣмъ ни наесты!“ (говорить онъ любимой дѣвушкѣ). „Возьми ты вострый ножъ, зарѣжь меня, легче мнѣ будетъ“. (86).

Онъ мрачно допрашиваетъ ее—любитъ ли она? и на утвердительный отвѣтъ говорить съ безумнымъ увлеченіемъ:

Ну, пропадай все на свѣтѣ! Скажи ты мнѣ теперь: загуби свою душу за меня! Загублю, глазомъ не сморгну. (87).

Увлеченіе доходить до послѣднихъ границъ, когда Груша отвертывается отъ него, узнавъ, что онъ женатъ.

Если со мной что недоброе сдѣлается, на твоей душѣ грѣхъ будетъ (говорить онъ ей). Я голова отпѣтая, ты меня знаешь. (103).

Онъ обѣщаетъ Еремкѣ отдать послѣднюю рубашку, если только тотъ сдѣлаетъ дѣло—приворожить дѣвку,—и здѣсь страсть Петра Ильича принимаетъ злобный характеръ:

чтобъ не она надо мной, а я надъ ней куражился, какъ душѣ угодно.

говорить онъ колдуну.

Таковъ Петръ Ильичъ. И вотъ на его самовольную душу дѣйствуютъ два вліянія: религіозное слово отца и чувственные соблазны Еремки. Гордая и повидимому энергичная личность, какъ тростинка въ полѣ, колеблется въ борьбѣ этихъ страшящихъ и увлекающихъ ее вліяній, и оказывается безсильной передъ ними, ибо нѣтъ у нея ни въ чемъ опоры, нѣтъ у Петра Ильича почвы подъ ногами.

Онъ мнѣ вонъ какихъ страстей насулилъ, поневолѣ голову повѣсишь.

говорить Петръ женѣ про отрезвляющіе угрозы отца.— „Страшно!“ восклицаетъ онъ въ отвѣтъ на предложеніе Еремки повхачъ къ колдуну поворожить.

Душа Петра Ильича изнемогаетъ въ роковой борьбѣ, послѣ загула съ Еремкой.

Тетенька! (обращается онъ къ Афимѣ, заѣхавъ домой). Страшно мнѣ! Страшно!... Никто меня не любитъ,] извести меня хотятъ... Я пьяница, я безпутный, ну—убейте меня! Ну, убейте, мнѣ легче будетъ. Кто меня пожалѣетъ? а вѣдь я человѣкъ тоже.

Петръ Ильичъ доходитъ до какого-то безумнаго забытья, до бреда и призраковъ:

Страшно мнѣ, страшно! (восклицаетъ онъ). Вотъ мятель поднялась... Ухъ, такъ и гудеть! Вонъ завывли... вонъ, вонъ собаки завывли. Это онѣ на мою голову воютъ, моей гибели ждутъ... Ну, что-жъ. войте! Я проклятый человѣкъ! Я окаянный человѣкъ!

Ему мерещится Еремка, и онъ, съ ножомъ въ рукахъ идетъ за своимъ соблазнителемъ, идетъ убить жену.

Драма оканчивается торжествомъ свѣтлаго начала: благовѣстъ остановилъ Петра Ильича на Москвѣ-рѣкѣ

передъ прорубемъ; обезумѣвшій человѣкъ мгновенно отрезвѣлъ,—передъ нимъ вдругъ пропала вся его прошлая, распутная жизнь, вспомнилъ онъ слова отца,—и вернулся примириться съ женою, просить домашнихъ—помочь ему замолить тяжкій грѣхъ.

Говорятъ, что прежде драма оканчивалась иначе—торжествомъ начала темнаго. Такъ и сдѣлалъ Уфровъ въ своей оперѣ „Вражья сила“, чудесная музыка которой такъ прекрасно дополняетъ и развиваетъ недовершенное и недозрѣлое въ геніально-задуманной, но несоответственно замыслу выполненной драмѣ.

Во всякомъ случаѣ—такой или иной конецъ піесы—смыслъ ея тотъ, что гордая и самовольная личность оказывается несостоятельной, если опирается на свое „я“, а не на народныя начала. Петръ Ильичъ—энергическій человѣкъ, какъ и Любимъ Торцовъ въ „Бѣдности не порокъ“; но послѣдній былъ силенъ своей вѣрой въ народныя идеалы; первый оказался безсиленъ, потому что отрекся отъ нихъ, отдавъ предпочтеніе началу личному.

Противоположными Петру Ильичу являются въ драмѣ родители жены его—*Агафонъ* и *Степанида*. Характеръ послѣдней, любящей ласковой матери, горюющей по дочкѣ, ничѣмъ особеннымъ не отличается. Но характеръ Агафона весьма типиченъ.—Это человѣкъ кроткій и спокойный, скромный, смиренный, безконечно благодушный. Но онъ твердъ въ нравственныхъ правилахъ, въ томъ, что онъ призналъ закономъ и истиной.—Дочка бѣжала отъ него и тайно обвѣнчалась. Онъ первый простилъ ее.

„Что-жъ не простить! (говоритъ онъ). Я любовь къ ней имѣю, потому одна, а кого любишь, того и простишь... Я и врагу прощу, я никого не сужу“. (93).

Но признать правдой то, что по его взгляду неправда, онъ не можетъ:

„развѣ я одинъ судья-то? (говорить онъ); а Богъ-то? Богъ-то простить-ли? Можетъ, оттого и съ мужемъ-то дурно живетъ, что родителей огорчила. Вѣдь, какъ знать? (93).

Семья, семейныя связи и привязанности для Агафона—святое дѣло.—Отъ всей души простилъ онъ дочку и не помнить зла; отъ всей души скорбитъ онъ о ней, о ея несчастіѣ, о ея разладѣ съ мужемъ. Но она замужемъ—и онъ не допускаетъ и мысли о насильственной разлукѣ ея съ Петромъ Ильичемъ. На слова Дарьи, что она собралась уѣхать отъ мужа къ нимъ, къ родителямъ, онъ отвѣчаетъ твердо:

Какъ къ намъ? зачѣмъ къ намъ? Нѣтъ, поѣдемъ, я тебя къ мужу свезу.

Дарья возражаетъ, что не поѣдетъ къ мужу; а онъ начинаетъ ее уговаривать, кротко, любовно, ласково, но по-прежнему твердо.

Да ты пойми глупая, пойми — какъ я тебя возьму къ себѣ? Вѣдь онъ мужъ твой? — Поѣдѣте. Что болтать-то пусти, чего быть не можетъ... Какъ ты отъ мужа бѣжишь, глупая!... Ты думаешь, мнѣ тебя не жаль? Ну, вотъ всѣ вмѣстѣ и поплачемъ о твоёмъ горѣ—вотъ и вся наша помощь! Что я могу сдѣлать? Плакать съ тобой — я поплачу. Вѣдь я отецъ твой, дитя мое, мое! (Плачетъ и палуетъ ее, потомъ беретъ свою одежду и подходитъ къ ней). Ты одно пойми, дочка моя милая: Богъ соединилъ, человѣкъ не разлучаетъ.

Сынъ народа, человѣкъ преданія и обычая, вѣрный старинѣ, Агафонъ прибавляетъ къ этому и еще такого рода соображеніе:

Отцы наши такъ жили, не жаловались—не роптали. Ужели мы умнѣе ихъ? Поѣдемъ къ мужу! (97).

и онъ беретъ дочку за руку и ведетъ ее домой, къ Петру Ильичу.—Когда Петръ Ильичъ, въ порывѣ злобной страсти убѣгаетъ изъ дому съ ножомъ въ рукахъ, а Дарья

высказывает матери жалобы на судьбу свою, Агафонъ останавливаетъ ее:

Погоди, дочка, не ропщи. Живешь замужемъ-то безъ году недѣля, а ужъ на жизнь жалуешься.

Дарья говоритъ, что отъ Петра Ильича и родной отецъ отступился, что она рада бы терпѣть, да мука-то ея нестерпимая,—она не винить мужа, Богъ съ нимъ, да жить съ нимъ не хочетъ,—а Агафонъ продолжаетъ все по-прежнему твердо убѣждать ее:

Все это не дѣло, все это не дѣло! Охъ, охъ, охъ! Нехорошо... Бѣжать хочеть! Какой это порядокъ? Гдѣ это ты видала, чтобы мужья съ женами порознь жили?

Старикъ указываетъ дочкѣ, что можетъ быть ея несчастіе есть наказаніе, посылаемое Богомъ, наказаніе за горе родителей, которыхъ она самовольно бросила.

Врагъ васъ обуялъ! Вы точно не люди! Вотъ ты и терпи, и терпи! Да наказанье-то съ кротостью принимай да съ благодарностію. (114).

Но эти, повидимому суровыя слова, идутъ не отъ гнѣвнаго сердца,—напротивъ: Агафонъ сострадаетъ дочери, плачетъ надъ горемъ своего дитяти.—Убѣждая Дарью, онъ высказываетъ въ-заключеніе глубокую мысль о самой сущности семейныхъ отношеній и подымается до чисто-христіанскаго воззрѣнія на взаимныя отношенія людей вообще; вотъ эти знаменательныя слова его:

Ну, ты его оставишь, бросишь его, а онъ въ отчаяніи придетъ—кто тогда виновать будетъ, кто? Ну, а захвораетъ онъ, кто за нимъ уходить? Это, вѣдь, первый твой долгъ. А застигнуть его смертный часъ, захочеть онъ съ тобой проститься, а ты по гордости ушла отъ него...

„Батюшка!“ восклицаетъ Дарья, бросаясь на шею отцу; а онъ продолжаетъ любовно и кротно:

Ты подумай, дочка милая, поменяй хорошенько. (Плача). Глупы вѣдь мы, люди, охъ, какъ глупы!... Горды мы! (114).

Агафонъ признаетъ неправдой тайный бракъ дочери, то, что Петръ Ильичъ увезъ ее. Этой неправдой и объясняетъ онъ несчастье, внутренній трагизмъ ихъ семейной жизни.—Такъ смотреть на дѣло и отецъ Петра старикъ Илья: упрекая сына за ссоры съ женой, онъ говорить:

Самъ взялъ, не спросясь ни у кого, украдучи взялъ, а теперь она виновата! Вотъ пословица-то сбывается: „Божье-то крѣпко, а вражье-то лѣпко“.

Надѣлаютъ дѣла, не спросясь у добрыхъ людей, а спросясь только у воли своей дурачкой, да потомъ и плачутся, рошшутъ на судьбу, грѣхъ къ грѣху прибавляютъ, такъ и путаются въ грѣхахъ-то, какъ въ лѣсу. (71).

Оба старика высказываютъ взглядъ народа на семейныя отношенія, народное убѣжденіе, что личность, дѣйствующая одиноко, на свой страхъ, впадаетъ въ заблужденіе. Этотъ взглядъ видимо раздѣляетъ въ драмѣ и самъ авторъ; это выражается, во 1-хъ, въ томъ, что его симпатіи явно клонятся на сторону Агафона и Ильи, а не Петра; во 2-хъ, въ фактахъ, событіяхъ и лицахъ пьесы.

Петръ Ильичъ, увлекшись любовью къ Дарьѣ, тотчасъ-же порѣшилъ увезти ее тайно изъ отцовскаго дома. Въ этомъ поступкѣ выразилась лишь неразумная удалъ личнаго произвола: тайно увозить было не для чего, — и родители Дарьи были такіе люди, и отношенія ихъ къ дочери были таковы, что бракъ можно было заключить полюбовно, по взаимному согласію, безъ ссоръ и горя, безъ страданій.—Но Петръ Ильичъ хотѣлъ, во что-бы то ни стало, борьбы, вражды; онъ видѣлъ свое торжество въ томъ, что дѣвушка для него, изъ любви къ нему подавить въ своемъ сердцѣ другія чувства—любовь и

уваженіе къ родителямъ, подавить совѣсть. Онъ не хотѣлъ ждать, поступить спокойно, согласно съ правиломъ Агафона: „все своимъ чередомъ, торопиться-то никогда не надо“.—Неразумная торопливость, страстный порывъ личнаго произвола—и привели его къ ошибкѣ и гибели: временное и ложное увлеченіе онъ принялъ за истинное чувство. Какъ обнаружилось очень скоро, Дарья оказалась вовсе не подходящей ему женой: натуры ихъ слишкомъ различны. А тутъ на его бѣду онъ встрѣтилъ дѣйствительно родственную себѣ душу въ лицѣ дѣвушки Груши... Разъ ожегшись на произвольномъ поступкѣ, онъ, однако, не останавливается, а, гордый челоуѣкъ, даетъ еще большій просторъ своеволію—и губить жизнь свою и чужую.

Дочь содержательницы постоялаго двора Спиридоновны, *Груша*—очень симпатичная дѣвушка. Она—бойкая, умная, живая, веселая; въ ней такъ и кипитъ жизнь, энергія. Ей хочется радости, счастья, свободы, и она весела своей молодостью, тѣмъ, что некому помыкать ею.

Ишь ты, мать! (говорить она). Какъ-же, охота мнѣ замужъ! По тѣхъ поръ и погулять, пока въ дѣвкахъ. Еще замужемъ-то наживуся! Гуляй дѣвка, гуляй я!

Замужемъ-то жить трудно! (разсуждаетъ она сама съ собой). Угождай мужу, да еще какой навернется... Всѣ они холостые-то хороши... Еще станетъ помыкать тобой. А дѣвкамъ намъ житье веселое, каждый день праздникъ, гуляй себѣ—не хочу! Хочешь—работай, хочешь—пѣсни пой!... А приглянулся-то кто, развѣ за нами усмотришь: хитрѣй дѣвокъ народу нѣтъ.

Но послѣднія слова не должны кидать тѣнь на Грушу: она умна, она—дѣвушка честная; и мать совершенно справедливо спокойна за нее:

„За этой дѣвкой (говорить Спиридоновна) матери нечего смотрѣть, мать спи спокойно, ее не скоро оплетишь“. (98).

Грушѣ дорога дѣвичья воля,—и по расчету, за не-милаго она не пойдетъ замужъ; но если она полюбитъ, то полюбитъ сильно, и любимому человѣку отдастъ и свою дѣвичью волю.

При всей любви къ свободѣ и веселью, въ ней очень живы симпатіи къ семьѣ, стремленія къ тихому семейному счастью. Она проситъ Петра подарить ей перстенецъ: ей больно, что другія дѣвушки въ праздникъ на улицѣ сидятъ съ тѣми, кого любятъ, а она—одна:

„ты вотъ со мной никогда не погуляешь (кротко упрекаетъ она Петра Ильича). По крайности я перстенецъ покажу, что есть у меня такой парень, который меня вѣрно любитъ“ (88).

Она любитъ Петра всею душою и съ радостью пошла-бы за него замужъ. Но когда узнаетъ его обманъ, она его отвергаетъ безъ колебаній и сомнѣній. Отвергаетъ въ 1-хъ потому, что у нея совѣсть чутка, сердце человѣчно; во 2-хъ потому, что въ ней живо чувство собственнаго достоинства и не мало въ душѣ ея благородной энергіи.

Когда въ ея присутствіи Даша на постояломъ дворѣ жалуется матери на судьбу, на мужа, плачется, что разлучила ее съ мужемъ „злая разлучница“,—Груша вскрикиваетъ отъ душевной боли, и не столько отъ тоски по себѣ, сколько отъ жалости къ Дашѣ:

„Матушка! да вѣдь это я, разлучница-то!“ (96).

Сразу выкинуть изъ сердца человѣка, котораго искренно полюбила, конечно не легко. Груша не пойдетъ съ Петромъ Ильичемъ на примиреніе и сдѣлку; но она еще ждетъ его, чтобы „поскорѣй сердце сорвать“:

Такъ-бы изругала, такъ-бы изругала! (говоритъ она). Ужъ под-

вернись онъ только теперь мнѣ!... погоди-жь ты, постылый ты человекъ! (98).

Она еще плачетъ по Петрѣ Ильичѣ; но она сумѣетъ совладать съ собою.— „Полно дурачиться-то, что за слезы!“ уговариваетъ ее мать. И она совершенно соглашается съ этими словами:

Вотъ только съ сердцемъ не сообразишь (говорить она), а то не стоитъ онъ того, чтобы объ немъ плакать-то. Пойду пѣсню запою, со зла, во все горло, что только духу есть. (98).

Когда Петръ Ильичъ является, Груша высказываетъ ему въ глаза правду, уличаетъ его въ безсовѣстности; но она дѣлаетъ это безъ всякихъ слезливыхъ докукъ и унижительныхъ жалобъ: она цѣнитъ себя, свое достоинство, оскорбленное достоинство дѣвушки, и гордо выпроваживаетъ обманщика. Она еще горюетъ и тоскуетъ; но она сладитъ съ своимъ горемъ, и тоска не сломитъ ея душу.

Выше было упомянуто о двухъ окончаніяхъ драмы: первоначальномъ и измѣненномъ подъ вліяніями славянофиловъ. Последнее, т. е. пробужденіе совѣсти Петра и раскаяніе вслѣдствіе услышаннаго имъ благовѣста, напомниваго ему о совѣтахъ и укорахъ отца, пробудившаго въ его душѣ совѣсть и возвышенныя чувства, это окончаніе драмы говорить въ пользу нравственной высоты русской жизни; высокое религіозное начало оказалось сильнѣе въ нашей жизни, нежели начала инныя, низшія. Островскій вѣрилъ въ состоятельность, въ высоту народнаго быта, если могъ согласиться на подобное измѣненіе своего первоначальнаго замысла. Да о такой вѣрѣ его несомнѣнно свидѣлствуютъ и его явныя въ пьесѣ симпатіи къ воззрѣніямъ благодушнаго старика Агафона.—Во всякомъ случаѣ, то или другое окончаніе признать за драмою „Не такъ живи какъ хо-

чается“, смыслъ этой драмы остается тотъ-же: гордая и самовольная личность, освободившая себя отъ нравственныхъ законовъ народнаго быта и семейной жизни, оказывается, не смотря на всю свою энергію, несостоятельной и слабой, вслѣдствіе подобнаго освобожденія, и падаетъ въ нравственную бездну.

ГЛАВА VI.

„Гроза“.

Поэтъ вѣрилъ въ народную жизнь, въ ея здоровье и крѣпость, когда писалъ „Не такъ живи какъ хочется“, точно такъ-же, какъ вѣрилъ въ нихъ создавая „Сани“ и „Вѣдность не порокъ“.

Иное видимъ мы въ великой бытовой трагедіи „Гроза“, одномъ изъ высочайшихъ созданій Островскаго. — Здѣсь душой поэта уже начинаютъ овладѣвать сомнѣнія... Въ иномъ освѣщеніи нарисована здѣсь энергическая личность, иной смыслъ ея явленія, и иначе разъясняются поэтомъ ея отношенія къ окружающей жизни. — Сильный волею и разумомъ Любимъ Торцовъ чуть не погибъ, поддавшись соблазнамъ ложной стороны цивилизованнаго быта, но его спасло стремленіе къ народнымъ идеаламъ, къ правдѣ народной жизни. — Энергическая личность Петра Ильича, чуждающаяся этихъ идеаловъ и этой правды, отрекающаяся отъ нихъ, гибнетъ въ слѣдствіе подобнаго увлеченія. Два противоположныхъ положенія, противоположныхъ исхода... Но народное начало въ томъ и другомъ случаѣ — оказывается или могло бы оказаться спасительнымъ для сильныхъ духомъ людей. Гибнетъ лишь тотъ, кто чуждается его. — Иное дѣло въ „Грозѣ“: сильная и чистая духомъ Катерина чужда

ложныхъ увлеченій мишурнымъ блескомъ внѣшняго образованія; она вѣрна нравственнымъ законамъ быта, горячо вѣрить его идеаламъ, искренно и беззавѣтно отдается душою народной правдѣ, или тому, что народъ считаетъ за правду,—и однако-жъ она гибнетъ, гибнетъ трагически, не смотря на то, что душа ея полна жизни, полна чистыхъ помысловъ и стремленій; ей нѣтъ мѣста среди окружающихъ ее людей, она задыхается въ ихъ нравственной атмосферѣ,—и единственнымъ исходомъ и спасеніемъ для нея оказывается смерть. Катерина успокаивается духомъ лишь на мечтахъ о могилѣ, и только на могилѣ ея успокаивается и зритель великой драмы.

Въ „Грозѣ“ съ изумительной силой художественности нарисовалъ поэтъ три стихіи русской жизни: жестокіе нравы самодурнаго быта Дикихъ и Кабановыхъ; веселье молодой жизни близкой къ природѣ, и возникающее и гибнущее въ роковой дѣйствительности личное начало, готовое быть въ мирѣ съ окружающимъ, признавъ и принявъ его правдивыя стороны, но непризнаваемое имъ и отталкиваемое, ибо въ этомъ окружающемъ правда и ложь, добро и зло неразрывно перепутались.

„Жестокіе нравы, сударь, въ нашемъ городѣ, жестокіе! (говорить Кулигинъ Борису про изображенный въ драмѣ купеческій міръ)... у кого деньги, сударь, тотъ старается бѣднаго закабалить, чтобы на его труды даровые еще больше денегъ наживать... А между собой-то, сударь, какъ живутъ! Торговлю другъ у друга подрываютъ, и не столько изъ корысти, сколько изъ зависти. Враждуютъ другъ на друга; залучаютъ въ свои хоромы пьяныхъ приказныхъ. . . . а тѣ имъ, за малую благостыню, на гербовыхъ листахъ злостныя вѣзусы строчатъ на ближнихъ... (III, 218—219).

Живутъ всѣ замкнувшись, взаперти.

Вы думаете, они дѣло дѣлаютъ, либо Богу молятся. Нѣтъ, сударь! И не отъ воровъ они запираются, а чтобы люди не видали,

какъ они своихъ домашнихъ ѣдятъ-поѣдомъ, да семью тиранятъ. И что слезъ льется за этими запорами, невидимыхъ и неслышимыхъ!... И что, сударь, за этими замками разврату темнаго да пьянства. . . Семья, говорить, дѣло тайное, секретное! Знаемъ мы эти секреты-то! Отъ этихъ секретовъ-то, сударь, ему только одному весело, а остальные—волкомъ воютъ. Да и что за секретъ? Кто его не знаетъ! Ограбить сиротъ, родственниковъ, племянниковъ, заколотить домашнихъ такъ, чтобъ ни о чемъ, что онъ тамъ творить, плакнута не смѣли. Вотъ и весь секретъ. (252—253).

Дикости нравовъ совершенно соотвѣтствуетъ дикость невѣжества этого міра.

Ну, какъ же ты не разбойникъ! (кричитъ Дикой на Кулигина, предлагающаго устроить громоотводъ). Гроза-то намъ въ наказаніе посылается, чтобы мы чувствовали, а ты хочешь шестами да рожнами, какими-то, прости Господи, обороняться. Что ты, татаринъ, что-ли?

— Савель Прокофѣичъ, ваше степенство (возражаетъ Кулигинъ), Державный сказалъ:

Я тѣломъ въ прахъ истлѣваю,

Умомъ громамъ повелѣваю.

А за эти вотъ слова тебя къ городничему отправить, такъ онъ тебѣ задасть! (продолжаетъ свое Дикой).

Страница Оеклуша просвѣщаетъ невѣжественныхъ обывателей Калинова пріобрѣтенными ею въ путешествіяхъ свѣдѣніями о томъ, что есть такія страны, гдѣ и царей-то нѣтъ православныхъ, а салтаны земель правятъ: „салтанъ Махнутъ турецкій да салтанъ Махнутъ персидскій“.

И не могутъ они ни одного дѣла разсудить праведно, такой ужъ имъ предѣлъ положенъ. . . . И всѣ судьи у нихъ, въ ихнихъ странахъ, тоже все неправедные; такъ имъ. . . . и въ просьбахъ пишутъ: „суди меня, судья неправедный!“—А то есть еще земля, гдѣ всѣ люди съ песьими головами. (233).

Въ 4 актѣ драмы укрываются обыватели отъ дождя подъ старинными расписанными сводами, изъ любопытства начинаютъ разсматривать геенну огненную, изобра-

женіе битвы... Но то, что когда-то было знакомо народу, теперь забыто,—случайно уцѣлѣвшее въ памяти слово Литва вызываетъ лишь дикое представленіе о томъ, что эта Литва, „она на насъ съ неба упала“; а про геенну огненную любознательный созерцатель находитъ только замѣтить, что „довольно затруднительно это понимать“—что такое тутъ „нарисовано было“; да еще занимаетъ его вопросъ—„ѣдутъ“ ли въ геенну промежду всякаго званія и чину людей и арапы? (да и арапы-то, вѣроятно, бѣлые).

Дикой и *Кабаниха*—представители въ драмѣ дикихъ нравовъ, безпощадно суроваго отношенія къ жизни и людямъ. Но между ними есть существенная разница: Дикой—самодуръ, Кабаниха—гнететъ и ломитъ жизнь во имя не своего произвола, а принциповъ, законовъ.

Савель Прокофійчъ Дикой — самодуръ въ самомъ полномъ смыслѣ слова. Что взбредетъ въ его ограниченную голову, то онъ и дѣлаетъ, и нраву его никто, по его мнѣнію, не смѣетъ и не долженъ препятствовать.

Разъ тебѣ сказалъ, два тебѣ сказалъ: „не смѣй мнѣ на-встрѣчу попадаться!“ (кричитъ онъ на племянника Бориса) тебѣ все неймется! Мало тебѣ мѣста-то? Куда ни пойдешь, тутъ ты и еси! Тыфу ты, проклятый!

Дикой жаденъ до денегъ—и нѣтъ для него ничего хуже, какъ отдавать деньги; онъ никому изъ служащихъ у него не назначаетъ поэтому жалованья. „Нешто ты мою душу можешь знать? (говоритъ онъ). А можетъ я приду въ такое расположеніе, что тебѣ пять тысячъ дамъ“. Само собою разумѣется, что онъ „во всю свою жизнь ни разу въ такое-то расположеніе не приходилъ“, какъ говоритъ Кудряшъ.—Когда нужно расплачиваться, онъ нарочно старается разсердить себя, чтобы накричать на человѣка просящаго денегъ.

Другъ ты мнѣ (объясняетъ свой нравъ онъ самъ), и я тебѣ долженъ отдать, а приди ты у меня просить — обругаю. Я отдать — отдамъ, а обругаю. Потому только закинься мнѣ о деньгахъ, у меня всю нутреннюю разжигать станетъ (250).

Онъ — „воинъ“, по опредѣленію Кабанихи и у него, по его собственнымъ словамъ, въ домѣ постоянно „война идетъ“. — Эгоизмъ Дикдого совершенно беззащитный и совершенно наивный, а потому и высказывается вполне откровенно. Онъ долженъ (по нелѣпому завѣщанію бабки Бориса) отдать племяннику и племянницѣ хранящееся у него наслѣдство лишь подъ тѣмъ условіемъ, если они окажутся къ нему почтительны. Онъ пользуется подобнымъ обстоятельствомъ, заставляетъ Бориса служить себѣ даромъ, ломается надъ нимъ, и начинаетъ простодушно поговаривать: „у меня свои дѣти, за что я чужимъ деньги отдамъ? Черезъ это я своихъ обидѣть долженъ!“ — Кулигинъ рассказываетъ, какъ однажды мужички пошли на него жаловаться городничему, что ни одного изъ нихъ путемъ не разочтеть.

Городничій и сталъ ему говорить: „послушай, говоритъ, Савель Прокофьевичъ, расчитывай ты мужиковъ хорошенько! Каждый день ко мнѣ съ жалобой ходить“.

А онъ

потрепалъ городничаго по плечу и говоритъ: „стоитъ-ли, ваше высокоблагородіе, намъ съ вами объ такихъ пустякахъ разговаривать! Много у меня въ годъ-то народу перебиваетъ; вы то поймите: не доплачу я имъ по какой-нибудь копѣйкѣ на человѣка, а у меня изъ этого тысячи составляются, такъ оно мнѣ и хорошо!“ (218).

Всякаго Дикдѣй обругаетъ, ни передъ кѣмъ не останавливается, — передъ однимъ человѣкомъ только онъ пасуетъ — это Кабаниха; она одна только можетъ его „разговаривать“, по его выраженію. Онъ и на нее иной разъ

пытается прикрикнуть: „ну, такъ что-жь, что я воинъ! Ну, что-жь изъ этого?“ Но она умѣетъ его осадить. Когда онъ, по самодурному либерализму обругалъ странницу Оеклушу, Кабаниха спокойно и сурово говоритъ ему: „ну, ты не очень горло-то распускай! Ты найди подешевле меня? А я тебѣ дорога!“ И Дикой сдерживается: „постой, кума, постой! не сердись!“ проситъ онъ.—Кабаниха—представительница жизненныхъ принциповъ, крѣпка опорой на законъ, потому Савель Прокофьичъ и смиряется передъ ней; безудержный самодуръ, онъ, однако, вообще боится нравственного закона: очень интересенъ въ этомъ смыслѣ его рассказъ Кабанихѣ, какъ, говѣя о великомъ посту, изругалъ онъ мужика, пришедшаго за деньгами, „такъ изругалъ, что лучше требовать нельзя“, и какъ потомъ у этого мужика прощенья просилъ:

Истинно тебѣ говорю (повѣствуетъ Савель Прокофьичъ), мужику въ ноги кланялся. Вотъ до чего меня сердце доводитъ; тутъ на дворъ въ грязи ему и кланялся; при всѣхъ ему кланялся (250).

Само собою разумѣется, что уваженіе Дикбого къ закону чисто внѣшнее: онъ поклоняется мужику передъ исповѣдью, а потомъ мужику-же будетъ плохо.

Кабаниха (въ противоположность Дикому)—человѣкъ твердыхъ принциповъ, но принциповъ ужасныхъ, безпошадныхъ и безчеловѣчныхъ.

„Ханжа, сударь! (говоритъ о ней Кулигинъ Борису Григорьичу). Нищихъ одѣваетъ, а домашнихъ заѣла совѣмъ“.

А заѣла она домашнихъ и довела до гибели, потому что особенно и дико понимаетъ два нравственныхъ закона—о почитаніи родителей и о повиновеніи жены мужу.—Дѣти, по мысли Кабанихи, должны совершенно

слѣпо, не разсуждая, исполнять родительскую волю, не имѣя собственной воли. Жена должна рабски, униженно подчиняться мужу и бояться его. — Эти законы Кабаниха не сама облекла въ такую суровую, грубую форму, — она (по смыслу драмы) наслѣдовала ихъ въ такомъ ихъ видѣ отъ старины. Она съ печалью думаетъ о новомъ времени, въ которое (боится она) рушатся прежніе порядки, и утѣшаетъ себя только тѣмъ, что ужь не увидитъ подобнаго развращенія нравовъ, не доживетъ до него:

„Молодость-то что значить! Смѣшно смотрѣть-то даже на нихъ. Кабы не свои, посмѣялась-бы до-сыта. Ничего-то не знаютъ, никакого порядка. Проститься-то путемъ не умѣютъ. Хорошо еще, у кого въ домѣ старшіе есть, ими домъ-то и держится, пока живы. А вѣдь тоже, глупые, на свою волю хотятъ; а выдуть на волю-то, такъ и путаются на покоръ да смѣхъ добрымъ людямъ. Конечно, кто и пожалеетъ, а больше все смѣются. Да не смѣяться-то нельзя, гостей позвать, посадить не умѣютъ, а еще, гляди, позабудутъ кого изъ родныхъ. Смѣхъ да и только! Такъ-то вотъ старина-то и выводится. Въ другой домъ и взойти-то не хочется. А и взойдешь-то, такъ плюнешь, да вонъ скорѣе. Что будетъ, какъ старики перемрутъ, какъ будетъ свѣтъ стоять, ужь и не знаю. Ну, да ужь хоть то хорошо, что не увижу ничего“. (II, 243).

Кабаниха страшна не столько своими убѣжденіями, сколько своею твердостью въ нихъ; она безпощадна въ карѣ за нарушеніе закона; для нея—пусть міръ погибнетъ, но да восторжествуетъ принципъ (*fiat justitia—regeat mundus*). — Какъ ржа желѣзо, точить она своего слабовольнаго сына за то, что онъ мало ее уважаетъ, что онъ жену любитъ больше чѣмъ мать, что онъ будто бы хочетъ жить своею волей. — „Хоть-бы то-то помнили, сколько матери болѣзней отъ дѣтей переносятъ“, говоритъ она сыну.

Если родительница что когда и обидное, по вашей гордости, скажетъ, такъ, я думаю, можно бы перенести! А, какъ ты думаешь?

Кабановъ. Да когда же я, маменька, не переносилъ отъ васъ?

Кабанова. Мать стара, глупа; ну, а вы молодые люди, умные, не должны съ насъ, дураковъ и взыскивать.

Кабановъ. (вздыхая). Ахъ, ты, Господи!—Да смѣемъ-ли мы, маменька, подумать!

Кабанова. Вѣдь отъ любви родители и строги-то къ вамъ бываютъ, отъ любви васъ и бранять-то, все думаютъ добру научить. Ну, а это нынче не нравится. И пойдутъ дѣти-то по людямъ славить, что мать ворчунья, что мать проходу не даетъ, ео свѣту сживаетъ. А, сохрани Господи, какимъ-нибудь словомъ снохъ не угодить, и пошелъ разговоръ, что свекровь завла совсѣмъ.

Кабановъ. Нешто, маменька, кто говорить про васъ?

Кабанова. Не слыхала, мой другъ, не слыхала, лгать не хочу. Ужъ кабы я слыхала, я-бы съ тобой, мой милый, тогда не такъ заговорила.

.....
Кабанова. Знаю я, знаю, что вамъ не понутру мои слова, да чтожъ дѣлать-то, я вамъ не чужая, у меня объ васъ сердце болитъ. Я давно вижу, что вамъ воли хочется. Ну, что-жъ, дождетесь, поживете и на волѣ, когда меня не будетъ. Вотъ ужъ тогда дѣлайте что хотите, не будетъ надъ вами старшихъ. А можетъ и меня вспомняете.

Кабановъ. Да мы объ васъ, маменька, денно и попно Бога молимъ, чтобы вамъ, маменька, Богъ далъ здоровья и всякаго благополучія и въ дѣлахъ успѣху.

Кабанова. Ну, полно, перестань, пожалуйста. Можетъ быть ты и любишь мать, пока былъ холостой. До меня-ли тебѣ: у тебя жена молодая. (221, 223).

Особенно тяжело достается жизнь Катеринѣ: попробуетъ она сказать слово за мужа: „Тихонъ тебя любить, матушка“, — Кабаниха рѣзко и ядовито останавливаетъ ее:

Ты бы, кажется, могла и помолчать, коли тебя не спрашиваютъ. Не заступайся, матушка, не обижу, небось! Вѣдь оль мнѣ тоже сынъ; ты этого не забывай! (222).

Скажетъ она, что любить мужа, — свекровь выразить сомнѣніе въ этомъ, а также мысль, что надо, коли „въ законѣ живете“, не любить, а бояться мужа. Бросится она, прощаясь, на шею Тихону, — ее остановятъ съ негодующей насмѣшкой и скажутъ, что она не любовница, чтобы на шею вѣшаться, а жена, и должна мужу кланяться въ ноги. Уѣзжающему сыну Кабаниха велитъ надавать женѣ оскорбительныхъ наказовъ: чтобы не грубила свекрови и почитала ее какъ родную мать, чтобы въ окна глазъ не пялила, чтобы на молодыхъ парней не заглядывалась. Противъ послѣднихъ приказаній возмущается самъ Тихонъ,.. но Кабаниха тверда въ своемъ словѣ:

Ломаться-то нечего (говорить она). Долженъ исполнять, что мать говорить. (Съ улыбкой). Оно все лучше, какъ приказано-то. (239).

Катерину упрекаютъ, что она во время проводовъ не выла на крыльцѣ часа полтора. На слова ея: „не къ чему! да и не умѣю“, Кабаниха замѣчаетъ:

Хитрость-то не великая. Кабы любила, такъ-бы выучилась. Коли порядкомъ не умѣешь, ты хоть-бы примѣръ-то этотъ сдѣлала; все-таки пристойнѣе; а то видно, на словахъ-то только... (243).

Но во всей силѣ беспощадная суровость Кабанихи проявляется тогда, когда Катерина созналась въ своемъ проступкѣ.

„Что, сыночек! (говорить старуха въ злобномъ торжествѣ). Куда воля-то ведетъ! Говорила я, такъ ты слушать не хотѣлъ. Вотъ и дождался!“ (273).

Катерина невыразимо мучится; Кабанову жаль ея, онъ ей сострадаетъ; а мать злобно учить его, что жалѣть нечего, что „ее надо живую въ землю закопать,

чтобъ она казнилась!“—Кулигинъ уговариваетъ Тихона простить жену, не попомнить зла и на Борисѣ: „врагамъ-то прощать надо, сударь!“—„Поди-ка поговори съ маменькой (отвѣчаетъ Кабановъ), что она тебѣ на это скажетъ“. Кабаниха отмѣнила, въ ревности къ своимъ законамъ, законы Евангельской любви и милосердія.—Когда Катерина ушла изъ дому, и Тихонъ боится—не убилась ли она, Кабаниха иронически замѣчаетъ: „А ты ужъ испугался, расплакался! Есть о чемъ“. Она не пускаетъ сына бѣжать на помощь бросившейся въ воду женщинѣ; а когда онъ рвется—грозитъ проклясть его.—„Полно! объ ней и плакать-то грѣхъ!“ говоритъ она, грозно и безсердечно, рыдающему надъ трупомъ Катерины Тихону.—Такою отталкивающею суровостью вѣтъ отъ мрачнаго образа Кабанихи, что зрители драмы чувствуютъ къ ней невольное негодованіе. Многіе помнятъ, вѣроятно, какъ иногда публика Александринскаго театра того времени, когда Кабаниху играла Линская, такъ художественно воспроизводившая типъ Островскаго, не вызывала любимую артистку, инстинктивно перенося на геніальную исполнительницу вражду къ изображаемой ею личности.

Справедливость требуетъ сказать, что есть одна и свѣтлая черта въ характерѣ старухи Кабановой, это—любовь къ дочери.—„Я со двора пойду!“ заявляетъ Варвара.

„А мнѣ что! (ласково отвѣчаетъ суровая мать). Поди! Гуляй, пока твоя пора придеть. Еще насидишься!“ (244).

Если Дикой и Кабаниха могутъ быть названы самодурами въ томъ смыслѣ, какъ понималъ это слово Добролюбовъ, то и *Тихонъ Кабановъ* можетъ быть по справедливости названъ личностью забитой и приниженной.

Онъ не имѣетъ собственной воли и собственной мысли. „Да какъ-же я могу, маменька, васъ послушаться!“ „Да я, маменька, и не хочу своей волей жить. Гдѣ ужъ мнѣ своей волей жить!“—только такого рода рѣчи и слышитъ отъ него мать. Она, конечно, одобряетъ его за это; но, какъ обыкновенно бываетъ съ подобнаго рода людьми, она сама же его и не уважаетъ. Она называетъ его дуракомъ; она презрительно говоритъ ему:

Что ты сиротой-то прикидываешься! Что ты нюни-то распустилъ?
Ну, какой ты мужъ? Посмотри ты на себя! (223).

И сестра Варвара его не уважаетъ.—Тихонъ чело-вѣкъ добрый и въ-сущности не дурной; онъ любитъ по-своему жену, онъ вѣритъ ей; онъ вовсе не хочетъ, чтобы жена его боялась. Но въ душѣ его нѣтъ настолько любви, чтобы защитить бѣдную женщину отъ оскорбленій, и онъ самъ наноситъ ей оскорбленія по приказанію матери. Собственная воля и возможность загулять на свободѣ, безъ присмотра, для него дороже всего. Онъ упрекаетъ жену за то, что мать точила его попреками; онъ откровенно говоритъ Катеринѣ, что радъ вырваться изъ дому, что онѣ съ маменькой его „заѣздили“. Онъ самъ, глупо и слѣпо, губитъ и жену, и себя, и возможность своего счастья.—Катерина, боясь своихъ порывовъ, проситъ его взять ее съ собою; онъ отказывается.—„Да неужели-же ты разлюбилъ меня?“ спрашиваетъ бѣдная женщина.

Да не разлюбилъ (отвѣчаетъ онъ); а съ этакой-то неволи отъ какой хочешь красавицы жены убѣжишь! Ты подумай то: какой ни на есть, а я, все-таки, мужчина; всю жизнь вотъ такъ жить, какъ ты видишь, такъ убѣжишь и отъ жены. Да какъ знаю я теперича, что недѣли двѣ никакой грозы надо мной не будетъ, кандаловъ этихъ на ногахъ нѣтъ, такъ до жены-ли мнѣ?

Какъ-же мнѣ любить-то тебя, когда ты такіа слова говоришь?
(скорбно восклицаетъ Катерина). (241).

У Тихона есть сердце: когда Катерина при свекрови начинает каяться, рассказывать свой проступок,—онъ пытается остановить ее, чтобы скрыть дѣло отъ безпощадной матери. Онъ сострадаетъ потомъ мученьямъ жены... Но онъ все-таки дѣлаетъ то, что приказываетъ мать: онъ бьетъ Катерину по ея повелѣнію. Не имѣя собственной мысли, онъ, напиваясь съ горя, настраиваетъ себя нарочно на враждебныя чувства, согласно съ воззрѣніями матери.—Человѣкъ совѣсти и чувства побуждаетъ въ немъ слѣпо-покорнаго сына лишь тогда, когда Катерина покончила съ собою. „Маменька, вы ее погубили! вы, вы, вы“... Но этотъ протестъ—уже поздній протестъ и ненужный; да едва-ли онъ и прочный. Можетъ быть Кабаниха и права, говоря съ увѣренностью въ отвѣтъ ему: „Ну, я съ тобой дома поговорю!“

Такова одна стихія жизни, изображенная въ „Грозѣ“,—стихія самодурнаго гнета сильныхъ надъ слабыми, унижительнаго и позорнаго приниженія слабыхъ.

Другая стихія—болѣе отрадная, даже привлекательная,—это веселье, радостный праздникъ молодой жизни. Представителями этого начала въ драмѣ являются Варвара и Кудряшъ. Удивительно сильное, поэтическое, неотразимое впечатлѣніе производитъ на зрителя сцена третьяго акта „Грозы“, чудная сцена свиданія въ оврагѣ на Волгѣ.

Кудряшъ человѣкъ бойкій, ловкій, умный. Онъ сдержанъ, и съ нѣкоторой пренебрежительной удалью относится къ нѣжнымъ проявленіямъ чувства: Кулигинъ указываетъ ему на красоту волжской природы: „Видъ необыкновенный! Красота! Душа радуется“. „Нешто“, съ полу-напускнымъ, полу-искреннимъ равнодушіемъ отвѣчаетъ Кудряшъ.—„Ты что-жь такъ долго? Ждать васъ еще! Знаешь, что не люблю!“ такими словами встрѣ-

чаетъ онъ на свиданіи Варвару. — Но въ душѣ его есть чувство, и чувство сильное; заподозривъ Бориса въ ухаживаніи за Варварой, онъ говоритъ съ порывомъ негодованія:

Чужихъ не трогай! У насъ такъ не водится, а то парни ноги переломають. Я за свою... да я и не знаю, что сдѣлаю! Горло перерву! (255).

Сильна въ душѣ Кудряша и совѣсть: узнавъ, что Борисъ полюбилъ замужнюю, онъ говоритъ, побуждаемый чувствомъ челоуѣколюбія и жалости:

„Эхъ... бросить надоть!... вѣдь, это, значить, вы ее совсѣмъ губить хотите, Борисъ Григорьичъ... вѣдь здѣсь какой народъ, сами знаете. Съѣдятъ, въ гробъ вколотятъ“. (256).

Варвара похожа на Кудряша: такая-же бойкая, смѣлая, веселая. Душа у нея добрая и простая. Она понимаетъ, что Катеринѣ тяжело въ ихъ семьѣ, она сочувствуетъ невѣсткѣ, понимаетъ, что та не можетъ любить Тихона. Она заступается за Катерину и всячески выгораживаетъ ее изъ бѣды. Но, живая и смѣлая, она не можетъ подняться на ту нравственную высоту, на которой стоитъ Катерина. Устраивая для послѣдней свиданія съ Борисомъ, она и не подозрѣвала, какія душевныя муки готовить бѣдной женщинѣ. — По ея понятію, жизнь такъ проста. „По моему (говоритъ она): дѣлай что хочешь, только-бы шито да крыто было“. Безъ обмана нельзя, учить она Катерину:

Ты вспомни, гдѣ ты живешь! У насъ вѣдь весь домъ на томъ держится. И я не обманщица была, да выучилась, когда нужно стало.

Она примирилась съ ложью, и не можетъ понять, что не всѣ могутъ примириться.

И вотъ среди этихъ разнородныхъ стихій народной

дѣйствительности появляется энергическая, благородная личность молодой женщины *Катерины*. — Она не можетъ подчиниться самодурному гнету и принизиться; она не можетъ пойти и на сдѣлки съ совѣстью, наступить на дорогу лжи. И она гибнетъ.

Поэтическій образъ Катерины — несомнѣнно одинъ изъ важнѣйшихъ образовъ не только творчества Островскаго, но и всей русской литературы.

Личность даровитая, впечатлительная и сильная духомъ, Катерина выросла подъ вліяніями важнѣйшихъ явленій русской жизни и подъ впечатлѣніями широкой и могучей волжской природы. — Рѣзвый ребенокъ, любимое дитя въ родной семьѣ, она жила дома „ни объ чемъ не тужила, точно птичка на волѣ“, мать въ ней „души не чаяла“. Весело было на сердцѣ у живой и чуткой дѣвочки. Вставши рано утромъ, умывшись на ключикѣ и поливши свои любимые цвѣты, отправлялась Катерина съ матерью въ церковь. Домъ ихъ былъ старинный благочестивый домъ; онъ всегда былъ полонъ странницъ да богомолковъ; эти странницы повѣствовали, когда домашніе сидѣли за работой (а работали больше золотомъ по бархату), повѣствовали — гдѣ онѣ были, въ какихъ святыхъ мѣстахъ, рассказывали житія свѣтыхъ, пѣли духовные стихи. Потомъ всѣмъ домою шли къ вечернѣ; потомъ Катерина гуляла по саду, „а вечеромъ опять рассказы да пѣніе“. — Катерина любила молиться, молилась съ любовью и вдохновеніемъ; въ храмѣ она чувствовала себя какъ въ раю, — не помнила времени, никого не видѣла, только мечтались ей Ангелы, слѣдила она своей фантазіей за ихъ полетомъ и пѣніемъ въ столбѣ свѣта, идущаго внизъ храма изъ оконъ купола. Божія міръ, утро въ саду, восходъ солнца вызывали въ душѣ ея религіозное умиленіе, слезы восторга, чистую

безпредметную молитву. И снились ей чудные и чистые сны: храмы золотые, деревья и горы, какими она видѣла ихъ на иконахъ; слышалось ей райское пѣніе, и летала она во снѣ по воздуху, легкая и просвѣтленная.

Религіозныя впечатлѣнія возвышенно настроили душу молодой дѣвушки, и остались въ ней на всю жизнь. Выйдя замужъ, Катерина такъ-же восторженно любить церковь и молитву.

„Ахъ, Кудряшъ, какъ она молится, кабы ты посмотрѣлъ! (говорить Борисъ Григорычъ). Какая у ней на лицѣ улыбка ангельская, а отъ лица-то какъ будто свѣтится“. (256—257).

Сохранилась на всю жизнь въ душѣ Катерины и свѣтлая, парящая къ небу мечтательность:

отчего люди не летаютъ такъ, какъ птицы? (говорить она своей золовкѣ Варварѣ). Знаешь мнѣ иногда кажется, что я птица. Когда стоишь на горѣ, такъ тебя и тянетъ летѣть. Вотъ такъ-бы разбѣжалась, подняла руки и полетѣла. Попробовать нешто теперь? (Хочетъ бѣжать).

Душа Катерины пылкая и энергическая.

„Такая ужъ я зародилась горячая! (говорить молодая женщина). Я еще лѣтъ шести была, не больше, такъ что сдѣлала. Обидѣли меня чѣмъ-то дома, а дѣло было къ вечеру, ужъ темно, я выбѣжала на Волгу, сѣла въ лодку, да и отпихнула ее отъ берега. На другое утро ужъ нашли, верстъ за десять!“ (234).

Сила духа, непокоряющееся гнету благородное упорство не покидаютъ Катерину до смерти; насиліе встрѣчаетъ съ ея стороны горячій, огненный протестъ; Катерину нельзя принизить, сдѣлать безотвѣтной и безмолвной. Когда Варвара удивляется, что она какая-то мудрёная—не хочетъ жить и поступать такъ, чтобы все было шито да крыто, Катерина говоритъ ей:

Не хочу я такъ. Да и что хорошаго! Ужъ я лучше буду терпѣть пока терпится.

— А не стерпится, что-жъ ты сдѣлаешь? (спрашиваетъ Варвара).

Что я сдѣлаю?

— Да, что сдѣлаешь?

Что мнѣ только захочется, то и сдѣлаю.

— Сдѣлай, попробуй, такъ тебя здѣсь заѣдятъ.

А что мнѣ. Я уйду, да и была такова.

— Куда ты уйдешь? Ты мужняя жена.

— Эхъ, Варя, не знаешь ты моего характеру! Конечно, не дай Богъ этому случиться! А ужъ коли очень мнѣ здѣсь опостынеть, такъ не удержу тебя никакою силой. Въ окно выброшусь, въ Волгу кинусь. Не хочу здѣсь жить, такъ не стану, хоть ты меня рѣжь! (236—237).

Идеализмъ религіозныхъ вѣрованій и чистой возвышенной мечтательности высоко поднялъ душу Катерины надъ пошлостью и порокомъ жизни; для нея невозможны сдѣлки съ совѣстью; серьезно, съ благовѣйнымъ уваженіемъ смотритъ Катерина на то, что признаетъ нравственнымъ закономъ.

Она вышла замужъ еще почти ребенкомъ, не понимая, можетъ быть, значенія брака, не зная человѣка, который сталъ ея мужемъ. (Здѣсь, замѣтимъ мимоходомъ, представляется намъ въ драмѣ нѣкоторая неясность: почему родные, такъ повидимому любившіе Катерину, выдали ее въ семью Кабановыхъ? почему такъ поспѣшили выдать ее замужъ? Или Катерина рано осталась сиротою? можетъ быть на это послѣднее предположеніе намекаетъ то обстоятельство, что въ тяжелыя минуты жизни она не ищетъ отрады и помощи въ своей прежней семьѣ. Поэтъ, къ сожалѣнію, оставилъ все это въ драмѣ неяснымъ).

Въ мужѣ Катерина не нашла, конечно, (мы знаемъ, что за человѣкъ Кабановъ), не нашла любящаго сердца, которое бы отвѣтило ея душевнымъ требованіямъ, кото-

рому она могла бы отдать свое сердце.—А между тѣмъ юность дѣлала дѣло: Катеринѣ хотѣлось любви, счастья—и она полюбила чужаго человѣка. Она испугалась этого чувства.

Охъ, дѣвушка (говорить она Варварѣ), что-то со мной недоброе дѣлается, чудо какое-то. Никогда со мной этого не было. Что-то во мнѣ такое необыкновенное. Точно я снова жить начинаю или... ужъ и не знаю... быть грѣху какому-нибудь! Такой на меня страхъ, такой-то на меня страхъ! Точно я стою надъ пропастью и меня кто-то туда толкаетъ, а удержаться мнѣ не за что.

Ночью, Варя, не спится мнѣ, все мерещится шепотъ какой-то, кто-то такъ ласково говорить со мной, точно голубить меня, точно голубъ воркуетъ. Ужъ не снятся мнѣ, Варя, какъ прежде, райскія деревья, да горы; а точно меня кто-то обнимаетъ такъ горячо-горячо, и ведетъ меня куда-то, и я иду за нимъ, иду...

Сдѣлается мнѣ такъ душно, такъ душно дома, что бѣжала-бы. И такая мысль придетъ на меня, что кабы моя воля, каталась бы я теперь по Волгѣ, на лодкѣ, съ пѣснями, либо на тройкѣ на хорошей, обнявшись... (228—229).

Признать свою любовь правдой Катерина не можетъ, потому что она хочетъ быть вѣрной, и дѣйствительно вѣрна нравственнымъ законамъ окружающаго ее быта. Чувство свое она считаетъ и называетъ грѣхомъ:

„Вѣдь это не хорошо (говорить она), вѣдь это страшный грѣхъ, Варенька, что я другого люблю!“ (229).

Катерина хочетъ быть не только въ мирѣ со свекровью, она хочетъ любить Кабаниху дочерней любовью:

Для меня, маменька, все одно, что родная мать, что ты,

говорить она искренно и правдиво.

И такъ-же искренно и правдиво, хочетъ она жить съ мужемъ въ любви и совѣтѣ, быть ему вѣрной женою. Она въ немъ ищетъ опоры противъ своего чувства къ Борису Григоричу.

Тиша, не уѣзжай! (просить бѣдная женщина, уже сознавшая возникающую въ сердцѣ незаконную любовь). Ради Бога, не уѣзжай! Голубчикъ, прошу я тебя!

А когда Тихонъ говоритъ ей, что нельзя не ѣхать, коли маменька посылаетъ, она просить:

Ну, бери меня съ собой, бери!...

Тиша, голубчикъ, кабы ты остался, либо взялъ меня съ собой, какъ-бы я тебя любила, какъ-бы я тебя голубила, моего милаго!

Она высказываетъ ему свои опасенія, что безъ него— „быть бѣдѣ, быть бѣдѣ!“ Она, наконецъ, просить его взять съ нея „какую-нибудь клятву страшную...“ И на его глупыя отпѣкиванія отъ всѣхъ ея просьбъ, отъ всѣхъ попытокъ спасти себя и его, отвѣчаетъ изъ души вырвавшимся крикомъ тоски:

Успокой ты мою душу, сдѣлай такую милость для меня! (242).

Потомъ, когда Тихонъ не внялъ ея мольбамъ и уѣхалъ, она все еще не теряетъ надежды остаться вѣрной закону.—Она жалѣетъ о томъ, что у нея дѣтей нѣтъ,—они бы спасли ее:

Эко горе! Дѣтокъ-то у меня нѣтъ: все-бы я и сидѣла съ ними да забавляла ихъ. Люблю очень съ дѣтьми разговаривать,—ангелы вѣдь это. (244).

У нея является даже мечта о чужихъ дѣтяхъ: „хоть-бы дѣти чьи-нибудь!“ говоритъ она. Но мечта эта, конечно, мимолетна, ибо не можетъ-же Катерина распорядиться въ домѣ Кабанихи и взять къ себѣ пріемышей.—Она хватается тогда за мысль о работѣ на бѣдныхъ, по общанію:

пойду (говоритъ она) въ гостинный дворъ, куплю холста да и буду шить бѣлье, а потомъ раздамъ бѣднымъ. Они за меня Бога помолятъ. Вотъ и засядемъ шить съ Варварой, и не увидимъ, какъ время пройдетъ; а тутъ Тиша пріѣдетъ.

Но чистымъ мечтамъ и намѣреніямъ Катерины не суждено сбыться. Она протягиваетъ руки къ окружающимъ ее людямъ и хочетъ смирить свои порывы,—а ее отталкиваютъ, грубо и безсердечно. Свекровь ее, въ отвѣтъ на уваженіе и готовность любить, поѣдомъ ѣсть. Мужъ говоритъ:

Я не чаю, какъ вырваться-то, а ты еще навязываешься со мной...

Да какъ знаю я теперича, что недѣли двѣ никакой грозы надо мной не будетъ, кандаловъ этихъ на ногахъ нѣтъ, такъ до жены-ли мнѣ?

„Какъ-же мнѣ любить-то тебя, когда ты такія слова говоришь?“ скорбно замѣчаетъ ему Катерина.—А свекровь она невольно начинаетъ ненавидѣть:

Не говори ты мнѣ объ ней, не тирань ты моего сердца! (проситъ она Тихона).

И вотъ, оставленная на произволъ судьбы, безъ поддержки и сочувствія, Катерина, наталкиваемая на грѣхъ единственнымъ хоть сколько-нибудь ее жалѣющимъ, если не любящимъ человѣкомъ, Варварой, предается своему чувству къ Борису, предается всей душою, искренно и горячо. „Мнѣ хотъ умереть—да увидѣть его?“ восклицаетъ она, и назначаетъ Борису свиданіе; а на свиданіи говоритъ ему, кидаясь на шею:

Твоя теперь воля надо мной, развѣ ты не видишь! (259).

Но сближеніе съ любимымъ человѣкомъ приносить ей не счастье, а горе и муки. И не утишить ей этихъ мукъ никакими оправданіями, никакими соображеніями вродѣ того, что

въ неволѣ-то кому весело! Мало-ли что въ голову придетъ... Долго-ли въ бѣду попасть!.. А горька неволя, охъ, какъ горька! (245).

Въ самую минуту свиданія она мучится тяжелою внутреннею борьбою:

Зачѣмъ ты пришелъ? Зачѣмъ ты пришелъ, погубитель мой? (говоритъ она Борису). Вѣдь я замужемъ, вѣдь мнѣ съ мужемъ жить до гробовой доски . . . пойми ты меня, врагъ ты мой: вѣдь, до гробовой доски!

Счастливая взаимностью, она желаетъ въ то-же время смерти. Говоря Борису: „коли я для тебя грѣха не побоялась, побоюсь ли я людскаго суда?“, она, однако, болѣзненно, мучительно желаетъ этого суда, какъ своего спасенія:

говорять, даже легче бываетъ (разсуждаетъ Катерина), когда за какой-нибудь грѣхъ здѣсь, на землѣ, натерпишься.

Муки бѣдной женщины происходятъ, во 1-хъ, оттого, что она грѣхомъ считаетъ самое свое чувство: „ты меня загубилъ... загубилъ, загубилъ“. говоритъ она Борису; во 2-хъ, оттого, что правдивая натура ея не выносить лжи и обмана.

Обманывать-то я не умѣю; скрыть-то ничего не могу, искренно и просто заявляетъ она Варварѣ; и дѣйствительно, когда возвращается Тихонъ, она становится сама не своя:

Дрожить вся, точно ее лихорадка бьетъ; блѣдная. . . мечется по дому, точно чего ищетъ... На мужа не смѣетъ глазъ поднять. (265).

Варвара боится, что она бросится мужу въ ноги и все откроетъ. Такъ и случается.—Въ угрожающихъ словахъ сумасшедшей барыни, въ раскатахъ грома, въ картинѣ геенны огненной—Катерина слышитъ упреки совѣсти, грозящей наказаніемъ въ загробномъ мірѣ за радости земнаго счастья. И она бросается къ мужу—и, при све-крови, при народѣ, все открываетъ ему.

Это вторичная, уже бессознательная, попытка Катерины примириться съ окружающимъ ее міромъ... Если бы этотъ міръ великодушно простилъ ее и принялъ, она бы всей душой привязалась къ мужу и энергіей воли подавила свои личные порывы. Кулигинъ, имѣющій въ шестъ значеніе хора, голоса народнаго, не даромъ говорить Кабанову:

Вы бы простили ей, да и не поминали никогда... Она бы вамъ, сударь, была хорошая жена; гляди—лучше всякой. (275).

Но у Дикихъ и Кабановыхъ нѣтъ великодушія — и мѣра терпѣнія и страданія переполняется: домъ опустылъ Катеринѣ на-вѣки, опустылъла жизнь и потеряла для нея всякій смыслъ,

Ночи, ночи мнѣ тяжелы! (говорить она). Всѣ пойдутъ спать и я пойду; всѣмъ ничего, а мнѣ какъ въ могилу. Такъ страшно въ потемкахъ!.. Ничего мнѣ не надо, ничего мнѣ не мило, и свѣтъ Божій не милъ!

Въ мечтательномъ забытьи уходитъ она изъ дома. Она великодушно жалѣетъ Бориса:

За что я его въ бѣду ввела? Вѣдь мнѣ не легче отъ того! Погибать бы мнѣ одной! А то себя погубила, его погубила, себя безчестье—ему вѣчный покоръ. (277).

Она жалѣетъ, что нынче не убиваютъ преступниковъ, что ее не бросать, за обманъ и измѣну, въ Волгу. Въ спокойствіи отчаянія говоритъ она:

Еще кабы съ нимъ жить, можетъ быть радость-бы какуюнибудь я и видѣла... Что-жь, ужъ все равно, ужъ душу свою, вѣдь я погубила.

Но еще не совсѣмъ изнемогъ духъ бѣдной женщины: она еще хочетъ видѣть Бориса, она еще на него возлагаетъ нѣкоторыя надежды:

„Возьми меня съ собой отсюда!“

просить она его, какъ прежде просила мужа. И какъ прежде мужъ, такъ теперь Борисъ, тоже приниженный и безвольный человекъ (хоть и въ болѣе образованныхъ и мягкихъ формахъ), отказываетъ ей:

„Нельзя мнѣ, Катя; не по своей я волѣ ѣду; дядя посылаетъ, ужъ и лошади готовы“... и т. д.

Это — послѣдняя капля, переполняющая чашу: для Катерины больше нѣтъ въ жизни никакой опоры — и не нужно ей больше жизни.

Въ кроткомъ сердце ея не возникаетъ злаго чувства противъ человека, невольно обманувшаго ея надежды. „Поѣзжай съ Богомъ; не тужи обо мнѣ“, просить она Бориса. И съ этой минуты всѣ мысли ея сосредоточиваются на смерти и на могилѣ. Все земное отъ нея отстранилось, — и къ ней вернулась ея прежняя, чистая мечтательность съ возвышеннымъ религіознымъ оттѣнкомъ. Она не можетъ идти въ домъ, вернуться къ жизни: ей все тамъ противно.

Умереть бы теперь! (мечтаетъ она)... Все равно, что смерть придетъ, что сама... а жить нельзя!... Грѣхъ! Молиться не будутъ? Кто любить, тотъ будетъ молиться...

Въ могилѣ лучше... Подъ деревцомъ могилушка... какъ хорошо! — Солнышко ее грѣетъ, дождичкомъ ее мочить... весной на ней травка вырастетъ, мягкая такая... птицы прилетать на дерево будутъ пѣть, дѣтей выведутъ; цвѣточки расцвѣтутъ: желтенькіе красненькіе, голубенькіе...; всякіе... всякіе... Такъ тихо, такъ хорошо?... А объ жизни и думать не хочется. Опять жить? Нѣтъ, нѣтъ, не надо... не хорошо!

И она уходитъ изъ жизни, уходитъ спокойно, на вѣки, въ глубокий омутъ Волги.

Энергическая, сильная личность рвалась къ правдѣ, къ жизни, къ счастью; хотѣла мира и любви со всѣми. Но въ суровой, самодурной средѣ она не нашла себѣ

не только сочувствія и отзыва, а даже терпимости. Правдивая и честная столько-же, сколько сильная, Катерина не могла пойти и на сдѣлку, не могла хитрить и обманывать, и такимъ путемъ завоевывать себѣ возможность жить и любить.—Быть задавленной и приниженной, или лгать и притворяться — Катерина не могла остановиться ни на одномъ изъ этихъ подводныхъ камней,—и предпочла умереть.

Скорбный конецъ этой молодой и многообщавшей жизни, есть выраженіе глубокихъ сомнѣній поэта въ нравственной и умственной самостоятельности того быта, который онъ до сихъ поръ, т. е. до „Грозы“, изображалъ преимущественно съ его свѣтлыхъ сторонъ.

Образъ *Кулигина* подтверждаетъ такой выводъ. Умный самоучка, съ живымъ сердцемъ и поэтическимъ чутьемъ, служить въ піесѣ выразителемъ сокровенныхъ народныхъ идеаловъ; его въ то-же время коснулось вѣяніе истинной цивилизаціи; и потому онъ понимаетъ окружающій его мракъ, и является судьей жизни. Онъ сурово осуждаетъ изображенную въ драмѣ среду. Мы видѣли его разсужденія о дикости нравовъ обывателей Калинова. Закончимъ разборъ „Грозы“ его приговоромъ надъ ихъ нравственной черствостью. Кладя на землю трупъ утопленницы-страдалицы, онъ говоритъ:

„Вотъ вамъ ваша Катерина. Дѣлайте съ ней что, хотите! Тѣло ея здѣсь, возьмите его; а душа теперь не ваша: она теперь передъ Судіей, который милосердіе васъ!“

ГЛАВА VII.

„Грѣхъ да бѣда на кого не живетъ“. — „Воспитанница“.

Какъ въ „Грозѣ“ погибаетъ энергическая женская личность, задыхаясь безъ нравственнаго свѣта и воздуха, такъ въ драмѣ „*Грѣхъ да бѣда на кого не живетъ*“ обречена гибели сильная мужская личность. — Женщина принижена и безвольна въ мірѣ Дикихъ и Кабановыхъ; но недостатокъ свѣта и воздуха направляетъ на ложный путь и самобытнаго, свободаго Льва Краснова.

„Грѣхъ да бѣда“ по силѣ художественнаго творчества—одно изъ высшихъ созданій Островскаго. Съ удивительнымъ искусствомъ сгруппировалъ поэтъ вокругъ своего героя представителей двухъ міровъ: барско-чиновничьяго съ одной стороны, народнаго купеческаго—съ другой.

Трудно сказать—кто хуже: легковѣсный юноша помѣщикъ Бабаевъ или тяжелый самодуръ лавочникъ Курицынъ.

Сынъ богатой помѣщицы, весело и безпечно, безъ думы и книги, прожившей жизнь, Валентинъ Павлычъ *Бабаевъ* воспитанъ былъ въ легкомысленной атмосферѣ, выросъ среди дворовыхъ дѣвушекъ, съ ранней юности

привыкъ къ пошлымъ интрижкамъ. Онъ человекъ не злой,—на вопросъ Зайчихи: „а что, хорошъ-ли онъ для людей-то?“ крѣпостной слуга Карпъ говоритъ: „ничего, хорошъ“. Но уважать достоинство человека, достоинство и честь женщины, серьезно смотрѣть на жизнь онъ не можетъ. Застравши въ маленькомъ городкѣ на нѣсколько дней, онъ скучаетъ и мечтаетъ объ легкой интрижкѣ.

Повадился больно! Все у него интрижки на умѣ! (говоритъ Карпъ)... Живу я теперича съ нимъ въ Петербургѣ, какихъ только я дѣловъ навидѣлся. Грѣхъ одинъ! (IV, 6).

Встрѣча съ Таней Красновой, за которой, еще дѣвухой, онъ ухаживалъ нѣкогда въ домѣ матери, очень его радуетъ. Ему нѣсколько неловко, что у Тани есть мужъ; но Лукерья Даниловна Жмигулина, прекрасно знающая его нравъ и привычки, и вошедшая во вкусъ этихъ милыхъ привычекъ, сейчасъ-же его успокаиваетъ:

Скажите, пожалуйста! Вы, кажется, были прежде совсѣмъ другихъ правилъ насчетъ этого. Не очень на мужей-то смотрѣли, что имъ нравится, что нѣтъ. (12).

И Бабаевъ начинаетъ волочиться за Таней.

Я опять ее увижу (весело мечтаетъ онъ)... Такая была она миленькая, нѣжненькая. Другіе говорили, что она немножко простенькая. Развѣ это порокъ въ женщинахъ? (13).

Таня, обрадовавшаяся тоже встрѣчѣ съ нѣкогда нравившимся ей человекомъ, проситъ его, чтобы отношенія между ними остались дружески-чистыми. Онъ, не придавая ни ей самой, ни ея словамъ никакого значенія, сейчасъ-же соглашается, но потомъ преспокойно отказывается отъ своего общанія.

А уговоръ?... вчерашній. Помните, тамъ на берегу (напоминаетъ ему Тани въ отвѣтъ на его назойливость).

— Нужно очень помнить! (нагло-небрежно возражаетъ онъ). Да и не было никакого уговора.... Не хочу я знать никакихъ уговоровъ.

Онъ наивно и нагло откровененъ съ Таней,—онъ доказываетъ ей любовь свою такого рода соображеніями:

Я вѣдь не говорю тебѣ, что я никогда не видалъ женщинъ красивѣе тебя, умнѣе. Вотъ тогда ты мнѣ могла-бы прямо въ глаза сказать, что я лгу. Нѣтъ, я видѣлъ и лучше тебя, и умнѣе, только не видалъ я никогда такой миленькой, добренькой, такой простенькой женщины, какъ ты. (45).

О судьбѣ этой „простенькой“ женщины онъ насколько не думаетъ и не хочетъ думать. „Вотъ вы лучше посовѣтуйте, какъ мнѣ всю жизнь съ мужемъ-то жить“, проситъ она; а онъ отвѣчаетъ: „ну да, какъ-же! нужно мнѣ очень!“—Ему и въ голову не приходитъ, что предметъ его легкаго развлеченія можетъ страданьемъ и даже смертью заплатить за нѣсколько весело имъ проведенныхъ дней. — Онъ философически смотритъ на интрижки и видитъ въ нихъ даже нѣчто возвышенное и прекрасное: если нельзя поправить той бѣды, что вышли замужъ, учить онъ Татьяну Даниловну,

такъ можно, душенька... хоть на время усладить свое существованіе, чтобы не совсѣмъ заглухнуть въ этой пошлой жизни. (20).

Наивный эгоизмъ Бабаева, презрительно-снисходительное отношеніе къ Танѣ и къ простой русской жизни, съ высоты своего барства и европейскаго полу-просвѣщенія, комически выражены поэтомъ въ сценѣ 2-ой картины I акта, гдѣ Бабаевъ ожидаетъ на берегу рѣки свиданія. Онъ говоритъ, что ужасно не любитъ дожидаться, и что женщины вообще любятъ помучить.

„Конечно (прибавляетъ онъ), это къ Танѣ не относится: она, я думаю, рада-радехонька, что я пріѣхалъ; я говорю про женщинъ намъ равныхъ. Я думаю, онѣ мучать для того.... какъ-бы это сказать... а мысль совершенно оригинальная... для того, чтобы впередъ вознаградить себя за тѣ права, которыя онѣ потомъ теряютъ. Вотъ что значить быть среди хорошаго ландшафта, такъ сказать наединѣ съ природой! Какія прекрасныя мысли приходить въ голову! Если эту мысль развить, конечно, на досугѣ, въ деревнѣ, можетъ выйти маленькая повѣсть или даже комедія въ родѣ Альфредъ Мюссе. Только вѣдь у насъ не съиграютъ. Такія вещи нужно играть тонко, очень тонко; тутъ главное—букетъ“. (18).

Очень комической представляется и самоувѣренная глуповатость Бабаева въ сценѣ разговора его съ Таней, когда онъ пришелъ къ ней въ домъ. Онъ, наивно не желая и подумать—о какой жизни говорить, спрашиваетъ Таню:

Веселитесь-ли вы здѣсь? есть ли у васъ развлечения?

Онъ заводитъ рѣчь о хозяйствѣ, объ домашнихъ обязанностяхъ, хозяйки, и снисходительно-высококомѣрно, съ легкимъ юморомъ, очень довольный собою, замѣчаетъ:

Я спрашиваю, а я самъ хорошенько не знаю, въ чемъ заключаются эти обязанности.

Вліяніе легкомысленной жизни въ домѣ помѣщицы Бабаевой сказалось въ характерахъ Татьяны Даниловны и Лукерьи Даниловны, дочерей бѣднаго приказнаго Жмигулина, семейству котораго Бабаева покровительствовала.

Особенно вошла во вкусъ легкомысленно-пошлой жизни *Лукерья Даниловна*. Это одинъ изъ наиболѣе ярко обрисованныхъ у Островскаго комическихъ типовъ.— Лукерья Даниловна свысока смотритъ на бытъ, среди котораго приходится ей съ сестрою жить. „Мы съ

простонародьемъ никогда не знали“, ядовито говорить она зятю, намекая на его родню. Воображая, что ея коснулось образованіе, она презрительно смотритъ на все, въ чемъ, по ея мнѣнію, нѣтъ благороднаго тона. „Вамъ по благородству вашему и знать-то это низко“, замѣчаетъ она Бабаеву про хозяйство и его принадлежности: тамъ употребляются

слова низкія и даже довольно грязныя, которыхъ при людяхъ воспитанныхъ никогда не говорятъ. . . . Къ хозяйству относятся кухня и всякія простонародныя вещи: сковорода, сковородникъ, ухватъ. Развѣ это не низко? (35).

Лукерья Даниловна очень конфузится, рассказывая Бабаеву про замужество сестры Тани.

Въ это время (говоритъ она) посватался за Таню. . . . я просто даже стыжусь вамъ сказать. . . . Вы такъ милостиво меня принимаете, интересуетесь моею сестрой, и вдругъ этакое невѣжество съ нашей стороны!

„Что-жъ дѣлать!.. чѣмъ же вы виноваты?“ снисходительно ободряетъ ее къ дальнѣйшему разсказу Бабаевъ; и, скрѣпя сердце, развязная дѣвица продолжаетъ:

Но, ахъ! я право всегда такъ конфужусь этого родства, что вы себѣ представить не можете. Ну, однимъ словомъ обстоятельства наши были такія, что она принуждена была выйти за лавочника.

Интересно, Что Лукерья Даниловна въ-сущности понимаетъ, что Красновъ хорошій человѣкъ; но только нравственная точка зрѣнія на людей и жизнь кажется ей низкой и несоотвѣтствующей благородному тону, котораго она набралась въ домѣ своей благодѣтельницы.

Онъ изъ ихняго круга очень хорошій человѣкъ (рассказываетъ она Бабаеву про зятя) и очень любитъ сестру; только все, знаете закоренѣлость какая-то въ ихнемъ званіи. Какъ хотите судите, а все-таки онъ отъ мужика недалеко ушелъ. А ужъ этой черты

характера, хоть 7 лѣтъ въ котлѣ вари, все не вываришь. Впрочемъ, надо правду сказать, онъ для дому хозяйинъ отличный: ни дня, ни ночи себѣ покою не знаетъ, все хлопочетъ да бѣгаетъ. И для сестры теперь все, что только-бы ей ни пожелалось, даже послѣднюю копейку готовъ отдать, только-бы ей угодить. . . . только одно: обращеніе его тяжело, да вотъ еще разговоръ его насъ очень конфузить. Совсѣмъ, совсѣмъ не такого я Танѣ счастья ожидала. (11).

Все простое, честное, искреннее, сердечное кажется Лукерьѣ Даниловнѣ невѣжествомъ и неблагородствомъ:

Это вы очень горячи къ любви-то, а мы совсѣмъ другаго воспитанія (33),

язвить она зятя.—„Онъ будь тѣмъ доволенъ, что ты за него замужь-то пошла (учить она сестру); а то еще вздумалъ надъ поведеніемъ наблюдать“.—Вообще нравственныя понятія и чувства у Лукерьи Даниловны не въ уваженіи. Она спокойно и самоувѣренно учить сестру обманывать мужа.

Нашей сестрѣ безъ хитрости никакъ жить нельзя (говорить она), потому мы слабый полъ, со всѣхъ сторонъ обиженный.

Ты переломи себя (продолжаетъ она), „принеси ему покорность: мужики это любятъ“; притворись, что влюблена въ него,—онъ упи-то и развѣситъ.

Я должна буду противъ сердца говорить (возражаетъ Краснова).

— Такъ что-жъ за бѣда! Почему онъ знаетъ, что у тебя на сердцѣ. Нешто ему понять, что притворное обращеніе, что настоящее. Ты посмотри, послѣ такихъ твоихъ деликатностей, онъ такъ въ тебя вѣрится, что ты хоть въ глазахъ у него амурничай, онъ и то не будетъ замѣчать (51).

Лукерья Даниловна и учить сестру свою „амурничать“; изъ желанія поддержать благородное знакомство съ Бабаевымъ и пустить этимъ пыли въ носъ своимъ городскимъ знакомымъ, она сводитъ сестру съ скучаю-

щимъ ловеласомъ. думая, къ тому-же, что связь Тани будетъ дѣломъ очень благороднаго тона. Довольная собою, она начинаетъ уже и фамиллярничать съ Бабаевымъ:

До свиданія! (говорить она, уходя отъ него) Покойной ночи, пріятнаго сна! Розы рвать, жасмины поливать!. Только какой вы! Ой, ой, ой! Ну ужъ молодецъ, нечего сказать! Я только смотрѣла да удивлялась. (23)

Татьяна Даниловна стоитъ нравственно гораздо выше сестры: мы видѣли, что она считала дурнымъ дѣломъ связь съ Бабаевымъ и просила его быть съ нею въ отношеніяхъ чистой дружбы.

Только голубчикъ, Валентинъ Павлычъ (умоляетъ она), если вы не хотите моего несчастія на всю мою жизнь, чтобы намъ такъ и любить другъ друга, какъ мы теперь любимъ, чтобы вы ничего больше и не думали. А то лучше Богъ съ вами, отъ грѣха подальше... потому что я хочу въ законѣ жить.

Мы видѣли, что Татьянѣ Даниловнѣ не хочется притворяться передъ мужемъ любящей, лгать и говорить противъ сердца.

Но она недалека, слабохарактерна, нетверда въ нравственныхъ правилахъ, и потому легко поддается подъ растлѣвающее вліяніе сестры.—Она не можетъ оцѣнить мужа и его любви. Когда онъ, внѣ себя отъ восторга, повѣрилъ ей притворному чувству, она говоритъ:

Несчастливая я, несчастная! Говорятъ, надо любить мужа; а какъ я могу его любить? Грубый, неотѣсанный, ласки медвѣжья! Сидитъ—ломается, какъ мужикъ.

Бабаева ставитъ она гораздо выше, потому что у него манеры благороднѣе,—и измѣняетъ нравственному долгу.

Справедливость требуетъ сказать, что ее все-таки тяготитъ обманъ:

что хорошаго обманывать-то? (говорить она Бабаеву). Да и
противно; не такой у меня характеръ. (71).

Есть въ Татьянѣ Даниловнѣ и нѣкоторая честность:
когда мужъ сказалъ ей, что повѣрить ея слову—была
она у барина или нѣтъ,—она не захотѣла солгать и тѣмъ
спасти себя, она сказала правду.—Но правда не такъ
сильна въ ней, чтобы повести къ примиренію съ нрав-
ственнымъ закономъ. Наивно, или глупо, не понимая
мужа, она тутъ-же прибавляетъ: „ужь лучше вы меня
оставьте, чѣмъ намъ обоимъ мучиться; лучше разои-
демтесь!“

Таковъ одинъ міръ, съ которымъ соприкасается своей
жизнью Левъ Красновъ, міръ барскаго и чиновничьяго
полу-образованія.

Происхожденіе, родство сближаютъ Краснова съ дру-
гимъ міромъ. Передъ нами въ драмѣ типическія лич-
ности Курициныхъ, Аюни, дѣдушки Архипа.

Курицынъ человекъ прямой и простой, въ то-же
время самодуръ въ самомъ грубомъ и первобытномъ
смыслѣ слова. На женщину вообще, а на жену въ от-
ношеніи ея къ мужу въ особенности, смотритъ онъ пре-
зрительно.

Не трожь, пушай ихъ! Я люблю, когда бабы браниться свя-
жутся (30),

говоритъ онъ шурину, когда жена его завела перебранку
съ невѣсткой.

Жену надо учить, бить не жалѣя, по его понятію,
держатъ въ повиновеніи.

Балуешь ты свою жену (удивляется онъ на Льва Краснова)...
Да, воля и добрую жену портить. А ты бы съ меня примѣръ
бралъ, училъ-бы ты ее уму-разуму, такъ лучше бы дѣло-то, про-
чтѣй было. Спроси вотъ, какъ я твою сестру шволилъ, небу жарко
было (28).

И онъ рассказываетъ, какъ иногда, заспоривши съ пріятелями о томъ, у кого жена обходительнѣе, онъ приводитъ всѣхъ къ себѣ въ домъ и показываетъ результаты своей выучки, заставляя жену по первому слову: „чего моя нога хочетъ?“ кланяться въ ноги.

Вздорная и сварливая, завистливая жена его, родная сестра Льва Родіоныча, вполне раздѣляетъ взгляды мужа; сгоряча да сдуру она было замѣтила на его похвальбу суровостью:

Да ужъ вы, Мануйло Калинычъ, извѣстный варваръ, кровопивецъ! Вамъ только-бы надъ женой ломаться да власть показывать, въ томъ вся ваша жизнь проходитъ (28):

но она сейчасъ-же и почувствовала и опомнилась:

Это я такъ къ слову только, Мануйло Калинычъ! А что, конечно, сестрица, съ нашей сестрой безъ острастки нельзя. Не даромъ говорится: жену бей, такъ щи вкуснѣй. (28—29).

Она говоритъ это вполне искренно: она такъ дѣйствительно и думаетъ, что женѣ необходимо кулачное ученіе мужа.—Но она вознаграждаетъ себя за терпѣніе побой своего „кровопивца“ сварами да ссорами съ тѣми, отъ кого не зависитъ. Для первое удовольствіе обидѣть словомъ невѣстку:

Кажется, не изъ барскаго роду взята (язвить она Татьяну Даниловну), а изъ приказнаго. Не велика дворянка. Козель да приказный—бѣсова родня. (30).

Она наговариваетъ брату на Татьяну Даниловну; выслѣживаетъ ее и открываетъ ея сношенія съ Бабасвымъ,—открываетъ на зло ей и брату, чтобъ отомстить за себя.

По душевной злобѣ она похожа нѣсколько на младшаго брата—Афоню. Но тотъ превзошелъ ее въ злобѣ.

Аеоня и дѣдушка Архипъ—напоминаютъ намъ куз-

неца Еремку и старика Илью въ драмѣ „Не такъ живи какъ хочется“. Но только они нарисованы поэтомъ гораздо ярче, художественнѣе, жизненнѣе, нежели тѣ. Они важны въ драмѣ по ихъ вліянію на Льва Краснова, по ихъ отношеніямъ къ нему.—Обратимся прежде къ характеру самого Краснова.

Левъ Родіончъ *Красновъ* — человѣкъ хорошій, хорошій даже по отзыву Лукерьи Даниловны. Онъ любилъ свою родную семью и, вѣрный тому, что считалъ нравственнымъ долгомъ, заботился о ней, работалъ на нее.

Я тридцать лѣтъ для семьи бобылемъ жилъ (говорить онъ), до кроваваго пота работалъ, да тогда только жениться-то задумалъ, когда весь домъ устроилъ. Я тридцать лѣтъ себѣ никакой радости не зналъ. (30).

Женился онъ на Татьянѣ Даниловнѣ по любви — и дѣйствительно любить ее, и не только любить, а и уважаетъ. Онъ самъ ее никогда не обидитъ и никому въ обиду не дастъ; онъ не позволитъ сказать ей недасковаго, рѣзкаго слова. Мы видѣли уже изъ словъ Лукерьи Даниловны, что Танѣ хорошо живется: мужъ сдѣлаетъ для нея все, чего-бы она ни пожелала.—Женившись, онъ готовъ для жены измѣнить образъ жизни своей: ей не нравится — и онъ совсѣмъ оставилъ вино; онъ считаетъ ее образованной и гораздо болѣе его благовоспитанной — и хотѣлъ-бы и въ этомъ сравняться съ нею:

будь я помоложе (говорить онъ), я-бы для Татьяны Даниловны во всякую науку пошелъ. Я и самъ вижу, чего мнѣ не хватаетъ-сь, да ужъ теперь года ушли. Душа есть-сь, а воспитанія нѣтъ-сь. А будь я воспитанъ-сь... (33).

Но и безъ воспитанія онъ уменъ, здраво смотритъ на вещи. Онъ очень недоволенъ самодурными замашками зятя своего Курицына и его совѣтами—какъ обращаться съ женой.

Ничего въ этомъ нѣтъ хорошаго, одинъ куражъ. (29).

говорить онъ въ отвѣтъ на разсказъ Курицына, о спорѣ съ пріятелями насчетъ почтительности женъ. Онъ, защищая свою Татьяну Даниловну, ссорится съ родными, выгоняетъ даже сестру и не хочетъ знаться съ нею.

Красновъ вспылчивъ, горячъ. Выгнавши родственниковъ за обиду жены, онъ говоритъ Татьянѣ Даниловнѣ:

Вы еще не знаете моего характера, я подчасъ самъ себя не радъ.

— Что-жь вы сердиты, что-ли, очень? (спрашиваетъ она).

Не то, что сердить, а горячъ: себя не помню, людей не вижу въ этомъ разѣ. (32).

Но, будучи такимъ, онъ умѣетъ себя сдерживать, умѣетъ владѣть собою. Онъ не хочетъ, чтобы жена его боялась.

Страху-то мнѣ отъ васъ не больно нужно-съ (говоритъ онъ ей).

А желательно-бы узнать, когда вы меня любить-то будете?

Благородный сердцемъ, онъ довѣрчивъ; до конца, до послѣдней минуты вѣритъ онъ Татьянѣ Даниловнѣ. Съ благородной гордостью отвергаетъ онъ наговоры на нее родныхъ. Онъ не хочетъ ея знакомства съ Бабаевымъ; онъ, основательно боясь такого сближенія, не хочетъ первоначально пускать жену къ Бабаеву; но потомъ соглашается и на это, потому что вѣритъ. — Человѣкъ тревожный, горячій, чуткій, онъ не можетъ быть спокоенъ теченіи того получаса, какъ жена у барина; но онъ сдержать себя и все перенесетъ.

Что-жь дѣлать (разсуждаетъ онъ), сразу круто нельзя — вовсе отъ себя оттолкнешь. Само собою, что будетъ думаться, и то, и другое въ голову полѣзетъ. Ну, да вѣдь не разбойникъ-же онъ какой, въ самомъ дѣлѣ! Да и супруга моя, какъ собственно недавно... То-есть, врагъ я самъ себя да и только! Вѣдь ничего не можетъ быть дурнаго; а я думаю, да всякіе вздоры прибираю!....

Татьяна Даниловна! (вырывается изъ его сердца крикъ любви и тоски) Сохнулъ я по тебѣ, пока не взялъ за себя; вотъ а взялъ, да все сердце не на мѣстѣ. Не загуби ты парня! Грѣхъ тебѣ будетъ! (29).

Красновъ самъ не свой отъ горя, волѣдствіе раз-молвки съ женой; ему и кусокъ въ горло нейдетъ. Но горе мгновенно переходитъ въ безумную радость, когда дѣдушка Архипъ началъ рѣчь о мирѣ. Одно слово жены—и Красновъ вѣритъ ей, вѣритъ вполнѣ, безъ оговорокъ и сомнѣній.—Горячими ласками отвѣчаетъ онъ на этотъ шагъ съ ея стороны:—Но этимъ еще дѣло не оканчивается. Какъ извѣстно, тотчасъ послѣ сцены обмана и притворства Татьяна Даниловна бѣжитъ, научаемая се-строю, къ барину. Страшныя сомнѣнія закрадываются, въ душу довѣрчиво любящаго человѣка, когда, вернувшись домой, онъ не застаётъ жены. А тутъ злобные наговоры родныхъ... И вотъ является она сама, винов-ная и смущенная. Кажется, дѣло ясно. Но сила любви Краснова такъ велика, что все одолеваетъ. Онъ еще разъ съ вѣрой обращается къ любимой женщинѣ:

Да не мучь ты меня! Скажи ты мнѣ, какъ на тебя смотришь-то какими глазами? Врутъ, что-ль, они? — такъ гнать ихъ вонъ, чѣмъ ни-попада. Аль, можетъ, правду говорятъ? Освободи ты мою душу отъ грѣха. Скажи ты мнѣ, кто изъ васъ врагъ-то мой? Была ты тамъ?

Въ отвѣтъ на сознаніе Татьяны Даниловны Крас-новъ теряется, отъ душевной боли, отъ стыда, отъ обиды, отъ жалости къ женѣ. Оправившись послѣ пер-ваго мгновенія, онъ хочетъ доискаться совѣсти у винов-ной; онъ, съ тайной надеждой на возможность примире-нія, допрашиваетъ ее:

Съ чего ты загуляла-то? Грѣхъ что-ли тебя попуталъ? сама ты не гадала этого надъ собой, не чаяла? Или своей охотой,

что-ли, на грѣхъ пошла? Теперь-то ты что? Сокрушаешься объ дѣлахъ своихъ, аль нѣтъ?.... Совѣстно тебѣ людей то теперь, аль весело?

Краснову страстно хочется простить жену, и онъ бы простилъ, и все забылъ великодушно, если-бы одно слово примиренія съ ея стороны, признанія вины своей. Красновъ стоитъ въ эту минуту очень высоко нравственно; онъ очень далекъ въ этотъ мигъ отъ трагическаго исхода драмы... Но онъ не встрѣчаетъ сочувствія, отвѣта и поддержки ни со стороны жены, ни со стороны родныхъ. Сознавая фактъ преступленія, Татьяна Даниловна не признаетъ своей виновности. А Аеоня подталкиваетъ брата подъ-руку, разжигаетъ въ немъ огонь злобы и ненависти. И благородный порывъ великодушной любви переходитъ въ порывъ вражды; съ духовной выси Красновъ падаетъ въ грязь земли: человекъ обращается въ звѣря,—и убійство совершено.—Какъ посмотрѣть на это дѣло? Какъ оцѣнить поступокъ и самую личность Краснова? Поэтъ даетъ въ драмѣ отвѣтъ на эти вопросы.

Тотчасъ послѣ страшнаго дѣла выступаетъ дѣдушка Архипъ—и произноситъ правдивый приговоръ надъ преступникомъ. Приговоръ этотъ—голосъ народа, выраженіе народныхъ идеальныхъ воззрѣній:

Что ты сдѣлалъ? Кто тебѣ волю далъ? Нѣшто она передъ тобой однимъ виновата? Она прежде всего передъ Богомъ виновата; а ты, гордый, самовольный человекъ, ты самъ своимъ судомъ судить захотѣлъ. Не захотѣлъ ты подождать милосерднаго суда Божьяго, такъ и самъ ступай теперь на судъ человѣческій! Вайте его! (80).

Личность, сильная, но не смогшая, въ-концѣ-концовъ, сдержать своей гордости и самовольства, признана несостоятельной судомъ народной правды.

Какой-же внутренній смыслъ драмы? Прежде всего бросается въ глаза тотъ прямой смыслъ ея, что гордая

и энергическая личность, опирающаяся лишь на себя, а не на народную правду и совесть, этим самым идетъ ко злу и гибели,—губить другихъ и разрушаетъ себя.

Но за этимъ такъ сказать явнымъ смысломъ есть въ великой трагедіи и другой еще смыслъ, скрытый и тайный. Поэтъ заставляетъ насъ скорбно задуматься надъ личностью Краснова и остановиться въ тяжеломъ недоумѣніи... Личность эта прекрасная; почему же она совершаетъ роковое преступленіе? и притомъ совершаетъ внезапно, почти неожиданно. — Тутъ замѣшаны другіе люди, замѣшанъ быть, окружающій Краснова. Съ одной стороны—безнравственность взглядовъ Татьяны и Лукерьи Даниловны, безнравственность отношеній къ жизни ихъ, семьи, изъ которой онѣ вышли, семьи и среды Бабаевыхъ, у которыхъ онѣ воспитались; съ другой стороны — безнравственность злобныхъ чувствъ, злобной чувственной ненависти Аюони, какъ представителя цѣлой полосы народной дѣйствительности, той полосы, къ которой принадлежитъ и Курицынъ съ женою,— вотъ тѣ прискорбныя обстоятельства, которыя подтолкнули Краснова на страшное преступленіе.—Несостоятеленъ быть, среди котораго пришлось жить энергической личности героя драмы, — и эта личность погибла и погубила другихъ. Будь вокругъ нея иные люди—и все было-бы иначе.

А дѣдушка *Архимъ*? Развѣ онъ съ его возвышеннымъ міровоззрѣніемъ, выразитель высшей стороны народной жизни, развѣ онъ не могъ поддержать и остановить заблуждающагося внука?—Въ драмѣ онъ произноситъ правдивый приговоръ надъ преступленіемъ. Но недаромъ онъ выступаетъ дѣятельнымъ, а не со стороны созерцающимъ лицомъ, только *послѣ* совершенія убійства. Поэтъ какъ будто хотѣлъ сказать этимъ, что нѣтъ въ дѣдушкѣ

Архипъ, т. е. въ той струѣ народной жизни, которую онъ выражаетъ собою, нѣтъ на-столько энергіи, чтобы дѣятельно водворять правду на землѣ; дѣдушка Архипъ можетъ лишь страдательно указывать на эту правду.

Аеоня оказался дѣятельнѣе: онъ прямо натолкнулъ брата на убійство. Чувственная и злобная стихія оказалась, по взгляду поэта, сильнѣе въ народной жизни, чѣмъ высокое религіозное начало.

Это еще раньше конца драмы сказывается въ самыхъ отношеніяхъ Аеони и дѣдушки Архипа.

Эти два человѣка — неразлучны, всегда вмѣстѣ; а между тѣмъ они совершенно противоположны. — Дѣдушка Архипъ. незлобивъ и кротокъ, и учитъ тому-же Аеону: оттого тебѣ и не мило все, говоритъ онъ,

что ты сердцемъ непокоенъ. А ты гляди чаще да больше на Божій міръ, а на людей-то меньше смотри: вотъ тебѣ на сердцѣ и легче станетъ. И ночи будешь спать, и сны тебѣ хорошіе будутъ сниться. (17).

Благодушно относится старикъ къ людямъ; ему хочется, чтобы всѣ жили въ мирѣ, и съ радостью устраиваетъ онъ примиреніе Татьяны съ мужемъ.

Хорошо, когда въ домѣ согласіе! (говоритъ онъ). Хорошо, дѣтки, хорошо! Окаянный сквозь землю, Господь по землѣ.

Не таковъ совсѣмъ Аеоня. Онъ самъ прекрасно опредѣляетъ себя въ разговорѣ съ дѣдушкой Архипомъ:

Какой я Божій человѣкъ! Я видалъ Божьихъ людей: они добрые, зла не помнятъ; ихъ бранятъ, дразнятъ, а они смѣются. А я дѣдушка, сердцемъ врутъ: вотъ какъ братъ-же; только братъ отходячивъ, а я нѣтъ; я, дѣдушка, злой.

Замѣчательно, что дѣдушка Архипъ его не понимаетъ; онъ думаетъ, что Аеоня тоскуетъ не по злобѣ на людей, не изъ зависти и ненависти, а потому, что „отъ младости не возлюбилъ міра сего суетнаго“.

Міръ тебя не прельщаетъ (говорить онъ), соблазну ты не знаешь, и грѣха, значить, на тебѣ меньше. . . . тебѣ не въ чемъ будетъ каяться: ты у насъ, Аеоня, Божій человекъ. (14—15).

Не понимаетъ старикъ Архипъ и другихъ людей; его обмануть легко: ему, на примѣръ, и въ голову не пришло, что Татьяна не искренно, а притворно мирится съ мужемъ.—Аеоня гораздо проникательнѣе, лучше видитъ жизнь, глубже понимаетъ людей.—Онъ—сознательная сила, но сила злая, разрушительная; дѣдушка Архипъ—представитель правды народной; но правда его—инстинктивная, слѣпая, слабая своей безсознательностью.

И такъ, и въ драмѣ „Гроза“, и въ драмѣ „Грѣхъ да бѣда на кого не живетъ“ поэтъ, глубоко постигшій народную жизнь, съ могучей художественной силой изобразившій ее во всѣхъ ея разнообразныхъ проявленіяхъ, пришелъ къ скорбнымъ сомнѣніямъ въ ея достоинствѣ, въ ея нравственной состоятельности: сильные духомъ люди—Катерина, Левъ Красновъ гибнутъ, задыхаются въ окружающей ихъ средѣ.

Но въ народной жизни поэтъ, однако, видѣлъ такъ много свѣтлаго, такъ много правды, такъ близка и родна ему была эта жизнь, что онъ не могъ ее не любить. И эта любовь художника и человека прорывалась порой очень оригинальными параллелями, которыя возникали въ его творествѣ. Однимъ изъ проявленій такой любви къ народному быту можно, кажется, считать написаніе почти одновременно съ „Грозою“ комедіи „Воспитанница“. Въ этихъ пьесахъ невольно напрашиваются на сравненіе два различныхъ міра—помѣщичій и купеческій, сходные между собою въ самодурствѣ.

Кабанихъ „Грозы“ соответствуетъ въ „Воспитанницѣ“—старуха Уланбекова. Тихону соответствуетъ—

Леонидъ. И въ обѣихъ пьесахъ молодая женщина гибнетъ отъ этихъ людей.

Кабаниха страшна своей суровостью и беспощадностью. Но это суровость человѣка вѣрнаго законамъ, ложно понятымъ, но все-таки законамъ. Кромѣ того она женщина честная. — Въ иномъ свѣтѣ представляется намъ *Уланбекова*. Развратная и лицемерная старуха, она гнететъ и давитъ всѣхъ и все вокругъ себя во имя своего совершенно безсмысленнаго произвола; кто не угодить ей въ мелочахъ, или не угодить ея фавориту лакею Гришѣ, или на кого наговорить приживалка злобная Василиса Перигриновна, тѣхъ она со свѣту сживетъ. Сама безнравственная, она лицемерно заботится о нравственности въ домѣ. И точно также лицемерно считаетъ она и выставляетъ себя благодѣтельницами бѣдныхъ, воспитательницей сиротъ и устроительницей ихъ судьбы. Выростивши въ домѣ дѣвушку, она потомъ выдаетъ ее замужъ за кого вздумается, кто понравится почему-либо ея капризной фантазіи. Пользуясь своей силой въ качествѣ богатой помѣщицы, она устраиваетъ насильственные браки, иногда противъ воли не только невесты, но и жениха; и тяжела бываетъ жизнь выданныхъ такъ дѣвушекъ. Интересны наставленія, которыя она даетъ обыкновенно выходящей замужъ воспитанницѣ (для возможности произносить подобныя наставленія она, главнымъ образомъ, и воспитываетъ дѣвушекъ и устраиваетъ ихъ судьбу).

И такое трогательное поученіе дѣлають, когда замужъ отдають! (разсказываетъ Потапычъ). Вы, говорить, жили у меня въ богатствѣ и въ роскоши и ничего не дѣлали; теперь ты выходишь за бѣднаго, и живи всю жизнь въ бѣдности, и работай, и свой долгъ исполняй. И позабуди, говорить, какъ ты у меня жила, потому что не для тебя я это дѣлала: я себя только тѣшила, а

ты не должна никогда объ такой жизни и думать, и всегда ты помни свое ничтожество и изъ какого ты званія. И такъ чувствительно, даже у самихъ слезки.

— „Что-жь, это хорошо“, наивно глупо замѣчаетъ на этотъ разсказъ 18-лѣтній сынъ Уланбековой Леонидъ.

Не знаю, какъ сказать, сударь, (отвѣчаетъ Потапычъ). Какъ-то все скучаютъ замужествомъ-то потомъ, сохнутъ больше.

— „Отчего-же, Потапычъ, сохнутъ?“ (продолжаетъ несообразительный юноша).

Должно быть несладко, коли сохнутъ. (165).

Сынъ Уланбековой *Леонидъ* возросъ въ атмосферѣ холопства, униженія, баловства. Онъ еще, по молодости, не очерствѣлъ сердцемъ окончательно, но у него уже проявляются задатки будущаго эгоистическаго самодурства. Собственное удовольствіе для него выше всего. Необдуманно и безсердечно губить онъ Надю, съ отчаянья отдавшуюся чувству воображаемой любви къ нему; и потомъ у него не хватаетъ совѣсти спасти бѣдную дѣвушку отъ грозящаго ей брака съ пьянымъ и безобразнымъ приказнымъ Неглигентовымъ. Василиса Перегриновна учитъ его, что дѣло сдѣлать довольно просто: надо только попросить Гришу, чтобы онъ смиловался и пошелъ къ барынкѣ—просить прощенія. Но Леониду это кажется уже черезъ-чуръ унижительнымъ: онъ лучше согласенъ загубить участь Нади.

Ну, ужъ это ему много чести будетъ! (говорить онъ про Гришу).

и потомъ бессмысленно пристаётъ къ бѣдной дѣвушкѣ съ безплоднымъ участіемъ, съ нелѣпыми вопросами и восклицаніями: „Какъ-же ты теперь думаешь?“ „Да зачѣмъ же ты такъ говоришь?“ „Да вѣдь онъ пьяный, скверный такой!“ и т. д.

Ахъ, оставьте вы меня! Сдѣлайте милость, оставьте!... Объ одномъ я васъ прошу! оставьте меня, ради Бога! (210).

съ скорбнымъ рыданіемъ отвѣчаетъ ему загубленная Надя.

Комедія „Воспитанница“ изображаетъ намъ весь ужасъ эгоистическаго безсмысленнаго личнаго произвола. Даже впечатлѣніе „Грозы“ смягчается, если сопоставить эту послѣднюю пьесу съ „Воспитанницей“.

Такое сопоставленіе приводитъ насъ къ выводу, что въ народномъ бытѣ Островскій видѣлъ больше правды и свѣта, нежели въ мірѣ людей оторвавшихся отъ народной почвы и гордо и презрительно смотрѣвшихъ на подвластный имъ, ихъ грубой силѣ народъ.

Г Л А В А VIII.

„Бѣдная невѣста“.

„Гроза“ и „Грѣхъ да бѣда“ заканчиваютъ собою рядъ тѣхъ пьесъ Островскаго, которыя изображаютъ народный купеческій міръ такъ-сказать въ немъ самомъ, въ его обособленной, своеобразной, оригинальной жизни. — Эти пьесы, конечно, занимаютъ главное мѣсто въ первомъ періодѣ дѣятельности великаго народнаго поэта. — Но кромѣ нихъ важное значеніе въ этомъ періодѣ имѣютъ и комедіи, въ которыхъ поэтъ рисуетъ *чиновничій* міръ, тотъ міръ, который стоитъ непосредственно надъ купеческимъ и съ которымъ этому послѣднему всего чаще приходится сталкиваться. Пьесы, изображающія чиновничій бытъ, поэтъ писалъ одновременно, параллельно съ комедіями и драмами изъ быта народнаго. Такъ, вслѣдъ за „Свои люди сочтемся“ появилась „Бѣдная невѣста“; а послѣ „Саней“, „Бѣдность не порокъ“ и „Не такъ живи какъ хочется“, предшествуя „Грозѣ“, шла комедія „Доходное мѣсто“.

Въ пьесахъ изъ бюрократическаго міра Островскій остается тѣмъ-же народнымъ поэтомъ, какимъ онъ былъ въ комедіяхъ собственно-бытовыхъ, ибо міросозерцаніе его, его взглядъ на жизнь, его отношенія къ людямъ

въ этихъ его сочиненіяхъ совершенно таковы-же, какъ и въ другихъ: исполнѣ народны, спокойны и благодушны.

Въ какомъ-же освѣщеніи является чиновничій бытъ подъ творческой рукою Островскаго?

Въ чудесныхъ, высоко-поэтическихъ комедіяхъ „Бѣдная невѣста“ и „Доходное мѣсто“ передъ нами являются собственно два міра: специально-чиновничій, отъ людей высоко-поставленныхъ на бюрократической лѣстницѣ до мелкихъ подъячихъ и дѣльцовъ, и интеллигентный, отъ лицъ получившихъ дѣйствительно высшее образованіе до лицъ нахватавшихся верхушекъ внѣшней образованности. Приэтомъ собственно-чиновничій бытъ оказывается крѣпче, тверже, устойчивѣе въ своихъ обычаяхъ и законахъ, въ своихъ воззрѣніяхъ, чѣмъ среда интеллигентная, въ которой замѣтна какая-то шатость и которая, во всякомъ случаѣ, находится въ положеніи скорѣй страдательномъ, нежели дѣятельномъ.— Симпатіи автора видимо, по крайней мѣрѣ въ „Доходномъ мѣстѣ“, на сторонѣ образованныхъ людей; но онъ не вѣритъ въ силу и состоятельность интеллигентной среды. Въ жизни образованнаго общества, по его взгляду, царить и распоряжается чиновникъ, за которымъ стоитъ длинное историческое прошлое, выработанныя и прочныя формы жизни, дѣятельности и людскихъ отношеній, за которымъ стоятъ крѣпкія традиции.—Этотъ чиновникъ, съ его взяточничествомъ, съ его грубостью нрава и обычаевъ, изображенъ Островскимъ совершенно оригинально и самобытно: поэтъ не выражаетъ лирическаго негодованія, въ его отношеніяхъ къ избранному имъ быту мы не видимъ Гоголевскаго скорбнаго юмора, онъ рисуетъ жизнь объективно и спокойно; но ничто въ этой жизни и не укроется отъ его зоркаго и трезваго взгляда: вся грязь и пошлость дѣйствительности всплы-

вають наружу и сами говорят за себя, сами себя осуждаютъ, несмотря на то, что поэтъ не упускаетъ никогда случая указать въ своихъ герояхъ остатки добрыхъ и свѣтлыхъ чувствъ (а иногда даже и преувеличиваетъ эти чувства). Но его герои являются такъ-сказать сами собою въ комическомъ освѣщеніи, и спокойствіе смѣха поэта надъ ними есть безповоротное осужденіе ихъ неправды и глупости.

Представители чиновничьяго міра въ „*Бѣдной невестѣ*“ — вдова чиновница Анна Петровна, старикъ стряпчій Платонъ Маркычъ Добротворскій и сравнительно молодой еще, но уже очень опытный дѣлецъ Максимъ Дорофеичъ Беневоленскій. — Интеллигентные лица этой комедіи: бывшій студентъ Хорьковъ, Милашинъ и Меричъ, все молодые люди.

Между этими двумя категоріями героевъ пьесы стоитъ одиноко и беспомощно молодая дѣвушка Марья Андревна. *Марья Андревна* — человѣкъ вполне обыкновенный и простой, въ ней нѣтъ ничего героическаго; но въ ней мы видимъ естественную правду души человѣческой. Душа эта не ищетъ чего нибудь чрезвычайнаго, она просто хочетъ жить и любить, хочетъ быть въ мирѣ со всѣмъ окружающимъ, — но эти естественныя стремленія ея не могутъ осуществиться: цѣной самопожертвованія она покупаетъ спокойствіе матери и смутными и сомнительными надеждами на лучшее будущее поддерживаетъ въ себѣ вѣру въ человѣка послѣ жестокаго разочарованія въ первой же своей искренней сердечной привязанности.

Анна Петровна Незабудкина — женщина не злая, хотя и вспыльчивая. Она искренно любитъ дочь; но ея взгляды на жизнь, на бракъ, на семейныя отношенія такъ простодушно грубы, что участь дочери ея дѣлается

невыносимо-тяжелой. Къ этому присоединяется простодушный и незлобивый эгоизмъ Анны Петровны... Она наслѣдовала отъ мужа домикъ, въ которомъ и живетъ съ дочкой; но этотъ домъ у нея оттягиваютъ по суду.

Вотъ домъ-то отнимутъ (говорить она дочери), что тогда дѣлать-то? Ты только подумай, какъ мы тогда жить-то будемъ! А что я! Мое дѣло женское, да я и не знаю ничего: я сама привыкла за людьми жить... Хоть бы ты замужъ, что-ль, Маша, шла поскорѣй. Я бы ужъ, кажется, не знала, какъ и Бога-то благодарить! А то какъ это безъ мужчины въ домѣ!... Это никакъ нельзя. (I, 128).

И она хлопочетъ изо всѣхъ силъ найти дочкѣ жениха, старается выдать ее за кого-нибудь, простодушно не думая, что тяжело молодому сердцу отдаться безъ любви и сочувствія, простодушно не допуская, что у Марьи Андревны могутъ быть мечты о счастьи, радужныя грезы о любви.—Анна Петровна поручила Платону Маркычу Добротворскому, который всей душой преданъ ея семейству, присматривать подходящаго для Марьи Андревны жениха по присутственнымъ мѣстамъ между надежными чиновниками. Получивъ отъ Платона Маркыча письмо, въ которомъ тотъ даетъ отчетъ въ своихъ поискахъ, Анна Петровна заставляетъ дочь вслухъ читать это письмо, и на слова Марьи Андревны: „это ужъ обидно даже. Ахъ, маменька, что вы со мной дѣлаете!“ спокойно говорить:

Никакой тутъ обиды нѣтъ! Ты, Маша, этого не знаешь, это ужъ мое дѣло. Я, вѣдь, тебя не принуждаю; за кого хочешь, за того и пойдешь. А это ужъ мой долгъ тебѣ жениха найти. (131).

„Я тебя не принуждаю“, говорить Анна Петровна. И въ самомъ дѣлѣ, явнаго принужденія она сама не хочетъ дѣлать; но безсознательно постоянно гнететъ и точитъ дочку.

Развѣ я виновата, маменька, (говорить та), что мнѣ никто не нравится?

— Какъ это не нравится—я не знаю (возражаетъ Анна Петровна); это такъ, капризъ просто, Маша... ты-то очень разборчива... (128).

А когда Платонъ Маркычъ подыскалъ Беневоленскаго, какъ дѣльца и жениха, Анна Петровна почти порѣшаетъ дѣло, даже безъ совѣта съ Марьей Андреевной. Она прямо намекаетъ посѣтившему ихъ Беневоленскому, что ему надо искать „подругу жизни“; она, смотря уже на него какъ на будущаго зятя, старается тутъ-же выторговать, чтобы онъ не пилъ много, когда женится.

Ну, какъ-же, Платонъ Маркычъ? Развѣ ужъ изрѣдка, а то какъ-же? говоритъ она Добротворскому на его замѣчаніе:

Ничего, сударыня, Анна Петровна; мужчинѣ это не мѣшаетъ. Былъ бы добрый человѣкъ. (170).

Тутъ же при Беневоленскомъ, по поводу разговора о современныхъ сочиненіяхъ, что тамъ все про любовь пишутъ, она говоритъ, поучая дочь:

Какая любовь! Все глупости, никогда этого не бываетъ. (172).

А когда Беневоленскій посватался, Анна Петровна не только уговариваетъ дочь согласиться, а настаиваетъ на ея согласіи, требуетъ его:

Ты никакъ съума сошла, какъ я погляжу на тебя (говоритъ она Марьѣ Андреевнѣ). Развѣ ты не видишь, что намъ теперь больше дѣлать нечего; не по міру же намъ идти..... не сотни тысячъ за нами, чтобы такими женихами брезгать: такого-то жениха намъ съ тобой и не дожидаться.

Ты дура совсѣмъ, я вижу. Да что съ ней толковать, у нея еще все вѣтеръ въ головѣ; она и сама не знаетъ, что говорить... Неужто ей глупости слушать? Скажите, Платонъ Маркычъ, Максиму Дорофеечу, что мы очень рады, чтобы онъ формальное предложеніе сдѣлалъ. (189).

На рѣшительный отказъ Марьи Андревны идти за Беневоленскаго Анна Петровна говорить:

А мнѣ кажется, что это только капризъ у тебя; только чтобъ матери напротивъ что-нибудь сдѣлать. Тебѣ меня только разстроить хочется.

Она *проситъ* дочку согласиться:

Если ты объ себѣ-то не хочешь подумать, такъ ты хоть мать-то пожалѣй. Кула я дѣвусъ на старости лѣтъ—я женщина слабая, сырая, ужъ и теперь насилу ноги таскаю. Въ кухарки мнѣ что-ли идти? (190).

Она плачетъ, приходитъ въ гнѣвъ и въ отчаяніе:

А! да гори все прахомъ—ничего мнѣ не нужно, коли ужъ дочь родная объ моемъ горѣ и подумать не хочетъ. Живи, какъ знаешь, Богъ съ тобой! Вотъ, выростила на свою голову!...

Она убѣждаетъ дочку, что нехорошо остаться „старой дѣвкой“:

Во-первыхъ, ты, коли любишь мать, должна выдти замужъ, а во-вторыхъ, потому что такъ нужно. Что такое незамужняя женщина? Ничего! Что она значить! Ужъ и вдовье-то дѣло плохо, а дѣвичье-то ужъ и совсѣмъ нехорошо! Женщина должна жить съ мужемъ, хозяйничать, воспитывать дѣтей, а ты что-жъ будешь дѣлать-то старой дѣвкой? Чулокъ вязать!

Отъ угрозъ и требованій Анна Петровна переходитъ къ ласкѣ и спокойнымъ уговариваніямъ; она наивно начинаетъ доказывать дочери, что любви вѣдь и не бываетъ:

Влюбляются-то, Машенька, только тѣ, которымъ жениться нельзя, либо рано, потому что еще въ курточкахъ ходить, либо нечѣмъ жить съ женой: такъ вотъ они и влюбляются. (192).

Когда Марья Андревна рѣшилась выдти за Беневоленскаго, Анна Петровна сама-не-своя отъ радости:

Ну, спасибо, утѣшила ты меня (говоритъ она Машенькѣ). Вотъ теперь я вижу, что ты меня любишь. Обрадовала ты меня...

она называет дочку „и красавицей, и умницей“; а на скорбный, почти отчаяньемъ вызванный вопросъ той: „что, маменька, хорошій онъ человѣкъ?“ съ увѣренностью отвѣчаетъ: „Хорошій! ужъ я не отдамъ тебя за дурнаго.“ Она не притворяется, говоря эти слова, и съ спокойнымъ сердцемъ выдаетъ дочку замужъ; но она до такой степени наивно - непосредственна, что это не мѣшаетъ ей въ концѣ пьесы такъ-же искренно и прямо высказать сомнѣнія въ зятѣ и въ судьбѣ дочери. Только что заявивши Платону Маркычу, что она и сказать не можетъ какъ рада, что устроила дочь; только что пожелавши Марѣ Андревнѣ счастья и задавши ей спокойный вопросъ про мужа: „нравится-ли онъ тебѣ?“ она тутъ же прибавляетъ:

„Признаться сказать, скоренько дѣло-то сдѣлали; кто его знаетъ, въ него не влѣзешь“ (241).

Это такъ простодушно - наивно, что на Анну Петровну и сердиться нельзя, какъ и не сердится бѣдная, пожертвовавшая собою дѣвушка.

Наивно-непосредственны и нравственныя воззрѣнія Анны Петровны вообще. Она понимаетъ, что Максимъ Дорофеичъ взяточникъ; но это смущаетъ ее очень мало; она цѣнитъ его, какъ „солиднаго человѣка“, который „съ небольшимъ въ 30 лѣтъ ужъ состояніе имѣетъ“; а на замѣчаніе Милашина: „а гдѣ взялъ онъ это состояніе?... у насъ совѣсть есть, оттого и состоянія нѣтъ; состояніе нажить не мудрено“, на это замѣчаніе Анна Петровна отвѣчаетъ практическимъ заключеніемъ: „да, поди вотъ наживи, да тогда ужъ и разговаривай!“ Милашинъ продолжаетъ развивать мысль, что нерадостно соединить свою судьбу съ человѣкомъ, котораго того и гляди подъ судъ отдадутъ; а Анна Петровна отвѣчаетъ ему:

Да, очень нужны мнѣ всѣ эти резоны! Я, батюшка, мать! Такъ, зря, дѣла не сдѣлаю. Еще молодъ очень учить-то меня!... Все одинъ фантазіи дурацкія (220).

Нельзя, повторяю, сердиться на подобныя наивныя соображенія малообразованной женщины-старухи, нельзя негодовать на Анну Петровну, какъ и не негодуетъ авторъ комедіи, тѣмъ болѣе, что она дѣйствительно, хоть и не глубоко, по-своему, любитъ дочь. Но нельзя, по внутреннему смыслу пьесы, и сочувствовать ей; поэтъ озарилъ ея образъ такимъ свѣтомъ, который обличаетъ все въ немъ ложное и темное, и заставляетъ насъ скорбно задуматься надъ ея наивно - безнравственными воззрѣніями, унаслѣдованными ею отъ воспитавшей ее среды.

Беневоленскій и Добротворскій — два удивительно-художественно нарисованныхъ типа двухъ чиновническихъ поколѣній. — Максимъ Дорофеевичъ, или — какъ онъ самъ выражается — Максимка *Беневоленскій* — человѣкъ еще сравнительно молодой; онъ быстро вышелъ въ люди, сдѣлался дѣльцомъ и стѣмѣлъ нажить состояніе; оттого онъ самоувѣренъ и самонадѣянъ. Онъ хочетъ жениться, но онъ при этомъ разборчивъ: невеста его должна быть барышня хорошенькая и чтобъ ее не стыдно было въ люди показать, чтобъ она „тонъ“ имѣла „свѣтскій“; она должна быть образована и притомъ (и это — главное условіе) хозяйка. „Мое дѣло пріобрѣтать всѣми силами, а ея дѣло хозяйничать“, говоритъ онъ Аннѣ Петровнѣ, разъясняя ей свой идеалъ жены. — Наивно-самоувѣренный, Беневоленскій, однако, способенъ столь-же наивно признать и свою незначительность:

Дѣвушку съ состояніемъ за меня не отдадутъ, по незначительности моего происхожденія и даже самаго положенія въ свѣтѣ,

простодушно говорить онъ будущей тещѣ; но это смиреніе не мѣшаетъ ему тутъ-же съ наивной наглостью прибавить:

А есть невѣсты благородныя и образованныя, не бѣдныя—и для нихъ-то, я вамъ безъ гордости скажу, такой женихъ, какъ я,—находка (169).

Максимъ Дорофеичъ очень цѣнитъ себя какъ чиновника:

Я вамъ скажу (говорить онъ), я очень доволенъ своимъ мѣстомъ и своимъ начальствомъ. Къ службѣ я человекъ усердный, съ подчиненными строгъ (167).

Ко взяткамъ онъ относится очень простодушно и находить ихъ дѣломъ вполне естественнымъ; самодовольно хвалится онъ передъ Добротворскимъ новыми дрожками, вороною пристяжкой, „Что, хороша?“

Ахъ, проказникъ вы, проказникъ. Максимъ Дорофеичъ! Да вѣдь, чай, некупленная? (замѣчаетъ старикъ).

— Разумѣется.

Бесѣдуя съ Анной Петровной о ея дѣлѣ, Беневоленскій говоритъ, что если можно будетъ устроить, такъ онъ устроитъ, а нѣтъ, такъ не взыщите:

Конечно, кто Богу не грѣшенъ, царю не виновать; но я вамъ доложу, нынче насчетъ этого очень строго,—

и онъ начинаетъ наивно жаловаться на новыя времена, откровенно признаваясь (съ нѣкоторымъ, даже, своего рода удалствомъ) въ грѣшкахъ:

Нынче держи ухо востро (повѣствуетъ онъ). Я вамъ про себя скажу: въ постоянномъ страхѣ находишься. Нельзя, чтобы грѣшковъ не было; того гляди, подъ судъ отдадутъ, выгонять изъ службы, куда дѣнешься? Ну, хорошо я холостой человекъ, а другой женатый... (168).

Человѣкъ необразованный и грубый, Максимъ Дорофеичъ выше всего ставить трактирныя удовольствія, вино. — Дуня говорить про него:

Что я жила — маялась! Приѣдетъ, бывало, пьяный да олаберный — такъ какъ обѣснующій какой.

Про подобные загулы онъ самъ въ домѣ Анны Петровны, разумѣется, умалчиваетъ; но вино онъ отстаиваетъ довольно энергически, а о трактирѣ повѣствуетъ съ нѣжной любовью. Когда Анна Петровна выразила мысль, что женихъ долженъ быть не пьющій, онъ возразилъ:

Въ женщинѣ это порокъ, я съ вами согласенъ; а для мужчины даже составляетъ иногда необходимую потребность. Особенно, если дѣловой человѣкъ: долженъ же онъ имѣть какое-нибудь развлеченіе. Разумѣется, я самъ первый осуждаю тѣхъ, которые имѣютъ къ этому большое пристрастіе.

Максимъ Дорофеичъ любитель музыки (по его словамъ); но не всегда удается ему послушать ее.

Вообразите, я никогда не видалъ этой оперы (говорить онъ про „Роберта-Дьявола“)... Какъ-то разъ собрались компаніей, да и то не попали... Мы прямо изъ присутствія зашли обѣдать въ трактиръ, чтобы оттуда отправиться въ театръ. Ну, люди молодые, про театръ-то и позабыли; такъ и просидѣли въ трактирѣ. (171).

Наивность этого разсказа соответствуетъ наивности его заявленія, что онъ теперь совершенно отсталъ отъ литературы:

Прежде читалъ (говорить онъ Марѣ Андревнѣ), а теперь, знаете-ли, дѣла, такъ рѣшительно ничего не читаю (172).

Съ такою же наивностію и самодовольствомъ сообщаетъ онъ, что хотя „имѣетъ сердце нѣжное, способное къ любви“, но такъ какъ у него дѣлъ много, то ему и некогда объ этомъ подумать. Выпивая рюмку за

ружкой, онъ съ развязностью одобряетъ игру Марьи Андревны на фортепьяно, потому-что—барышни обыкновенно сбиваются, а она не сбивается. Онъ общается привести Марью Андревну „конфетъ“ и съ самоувереннымъ восторгомъ объявляетъ Платону Маркычу, что влюбленъ:

Я дѣловой человекъ, ты меня знаешь, я пустяками заниматься не охотникъ; но я тебѣ говорю: я влюбленъ. Кажется, этого довольно (175).

Очарованный Марьей Андревной, онъ общается ей „слушаться“ ея „во всемъ“.

Изъ любви къ вамъ я на все готовъ (говорить онъ). Вамъ не угодно было, чтобы я водку пилъ—я ее бросилъ; вы мнѣ не приказывали табакъ нюхать—я и не нюхаю.

Но, подчиняясь, Беневоленскій не забываетъ, однако, своего эгоизма и самомнѣнія. „Что-жь, насъ будетъ пара, какъ ты думаешь?“ наивно-самоуверенно говоритъ онъ Добротворскому про себя и Марью Андревну. Старикъ расхохотался:

Ахъ, вы проказникъ! Ишь ты, какія штуки выдумываетъ!

А Максимъ Дорофейчъ удивляется: „чему-же ты смѣешься?“ Онъ и оканчиваетъ свою роль въ пьесѣ выраженіемъ эгоистической самоуверенности:

Въ жизни главное дѣло—умъ и предусмотрительность (разсуждаетъ онъ). Что такое я былъ, и что я теперь..... теперь насъ и рукой не достанешь. И капиталъ есть, и жену красавицу нашелъ. Чортъ возьми! (235).

и стуча себя пальцемъ по лбу, онъ съ наивностію прибавляетъ: „вотъ, вотъ чѣмъ пробьемъ себѣ дорогу“.

Въ противоположность Беневоленскому, Платонъ Маркычъ *Добротворскій*—человѣкъ смиренный и чуждый всякаго эгоизма и самомнѣнія.—По взглядамъ своимъ,

однако, на жизнь, на службу, на семейныя отношенія онъ совершенно подходитъ къ Беневоленскому и Аннѣ Петровнѣ. Мы видѣли его снисходительно-сочувственное отношеніе къ даровому приобрѣтенію Максимомъ Дорофеечемъ дрожекъ и лошадей; мы видѣли его защиту выпивки мущиною. Къ завѣдомому взяточнику Беневоленскому онъ относится съ ласковой нѣжностью, съ какой-то добродушной приниженностью:

Ужъ конечно, что вамъ за крайность на дурной жениться; сами-то вы ишь какой молодецъ! Ахъ, батюшка, голубчикъ!

умиленно говорить онъ и треплетъ Максима Дорофееча по спинѣ. Чиновникъ до глубины души, онъ идилически представляетъ себѣ чиновниковъ и ихъ быть, ихъ привычки.

А рому-то что-жъ не захватилъ.

говорить онъ официанту на свадьбѣ Марьи Андревны:

Эхъ, братецъ! Не знаешь ты, кого чѣмъ потчивать. Ишь, все дѣловые люди собрались, съ свѣтлыми пуговицами сидятъ (224).

Мы видѣли, какъ Платонъ Маркычъ подыскиваетъ Марьѣ Андревнѣ, по порученію матери, жениховъ по присутственнымъ мѣстамъ (онъ и нашелъ для нихъ Беневоленскаго).—Все это, конечно, не симпатично въ старикѣ страпчемъ, все это отталкиваетъ насъ отъ него. Но Платонъ Маркычъ чрезвычайно добродушный человекъ, и ни капли злобы нѣтъ въ его простомъ сердце. Онъ только никогда не думалъ о той жизни, которая представляется ему въ такомъ идилическомъ свѣтѣ, его мысль никогда не останавливалась на ея позорныхъ дѣяніяхъ.—Подыскивая выгоднаго жениха бѣдной дѣвушкѣ, святая грубаго Беневоленскаго, онъ и не думаетъ о томъ, сколько горя причиняетъ Марьѣ Андревнѣ. Самымъ добродушнымъ образомъ уговариваетъ онъ ее

согласиться на просьбы матери; а на ея доверчивое признание, что она любит другаго, молодого человека, спокойно и простодушно замѣчаетъ:

Свистуны, вѣдь, они, матушка, никакой основательности нѣтъ. Не вѣрьте вы имъ. Нынче любятъ, а завтра разлюбятъ. Имъ потѣха, а бѣдныя дѣвушки плачутъ. (99).

Съ чувствомъ, со слезами на глазахъ, говоритъ старикъ Марья Андреевичъ, что хлопочетъ изъ любви къ ней, да изъ сердечной благодарности къ покойнику отцу ея:

Матушка-барышня, я васъ еще вотъ какую зналъ: ребенокъ были несмышленочекъ, на рукахъ носилъ. Вашъ папенька покойникъ мнѣ благодѣтель былъ, въ люди меня вывелъ, я прежде очень маленький человекъ былъ. Какъ умиралъ покойникъ,—ты говоришь, Платонъ Маркычъ, жену съ дочерью не оставь! Слушаю, говорю. батюшка, Андрей Петровичъ, служить буду пока силъ хватить. Я васъ, барышня, больше родной люблю, такъ горько мнѣ будетъ, какъ вертопрахъ какой-нибудь посмѣется надъ вами.

Въ Платонѣ Маркыча дѣйствительно есть сердце, способное понять чужую душу и поддержать ее въ тяжелую минуту. Когда Марья Андреевна живетъ мыслью о томъ, что можетъ исправить Беневоленскаго, спасаетъ себя отъ отчаянья этой мыслью, Платонъ Маркычъ, въ противоположность Меричу, безсовѣстно ее разочаровавшему, поддерживаетъ въ ней надежду.

Вѣдь это пустяки, нельзя этого сдѣлать, а! Платонъ Маркычъ, не такъ-ли? Все это дѣтскія мечты?

съ затаенной болью говоритъ бѣдная Марья Андреевна; а онъ отвѣчаетъ ей сердечными словами бодрости и утѣшенія:

Звѣри лютые, и тѣ украшаются...

Да онъ, по добродушію своему, и самъ вѣрить этимъ словамъ своимъ.

Старикъ дѣйствительно любить Марью Андревну. Когда Беневоленскій сказалъ ему о своей бывшей связи съ Дуней, и просилъ уладить это дѣло, Платонъ Маркычъ душевно огорчился:

Что-жъ вы, отецъ мой, у меня съ Марьей-то Андревной дѣлаете! Вы этакъ у меня ее уморите, сердечную... А ужъ вы, батюшка, эти глупости-то оставьте. (235).

Художественно нарисоваль Островскій образъ Платона Маркыча. Но невольно напрашивается вопросъ: до глубины ли души старика проникъ анализъ художника? Нѣтъ-ли нѣкотораго рода необъясненнаго противорѣчія между безконечнымъ благодушіемъ Добротворскаго и его чуть не любовными отношеніями къ взяточничеству, плутнямъ всякаго рода, насильному выдаванію дѣвушекъ замужъ и т. д... На существованіе здѣсь какой-то недоконченности и неясности указываютъ нѣкоторыя обстоятельства комедіи: напр. Островскій оставилъ неизвѣстнымъ—беретъ ли взятки самъ Добротворскій и можетъ-ли онъ благодушно-любовно относиться и къ собственной нечестности? Далѣе, слова о томъ, что молодые люди—свистуны, что лучше выдти по расчету за человѣка основательнаго, вроде Беневоленскаго и т. п.—не потому ли эти слова такъ мало возмущаютъ и насъ, и Марью Андревну, что Меричъ дѣйствительно дрянная личность? но какъ мы отнеслись бы къ этимъ словамъ, если бы на мѣстѣ Мерича былъ другой человѣкъ, достойный, честный, ну, хоть Хорьковъ?—Да и безсознательность Платона Маркыча въ сущности ужъ не такъ велика, какъ ее хочетъ изобразить поэтъ; проговаривается-же старикъ Марьѣ Андревнѣ, что не ручается—каковъ Беневоленскій; предлагаетъ-же онъ и Марьѣ Андревнѣ самой всмотрѣться въ него и самой порѣшить дѣло? Наконецъ это послѣднее пред-

ложеніе—неужели и оно бессознательно? неужели старикъ и тутъ не понимаетъ—что говорить, не понимаетъ, что дѣло вовсе не въ всматриваніи Марьи Андревны въ Веневоленскаго? самъ-же онъ, тутъ-же, сейчасъ за своимъ предложеніемъ, прибавляетъ:

А все мой совѣтъ—лучше маменьки послушаться, меньше грѣха будетъ.

Не проглядѣлъ-ли Островскій плутоватости въ своемъ Добротворскомъ? не преувеличилъ-ли нѣжности его сердца, благодущія характера?

Какъ поэты противоположнаго Островскому направленія, поэты мрачнаго разочарованія и скептицизма, впадая въ крайность, несправедливо метали порой громы негодованія на людей простыхъ и добрыхъ, вовсе этого не заслуживавшихъ, такъ Островскій въ „Вѣдной не-вѣстѣ“ впалъ въ крайность спокойнаго и благодушнаго отношенія къ жизни и не прочь былъ обфлитъ то, чего обфлитъ нельзя. (Можетъ быть даже и къ Аннѣ Петровнѣ онъ черезъ-чуръ снисходителенъ). — Въ „Доходномъ мѣстѣ“ поэтъ уже освобождается отъ этой ошибки, хотя, какъ увидимъ, еще не совсѣмъ.

Къ интеллигентному міру, который съ другой стороны соприкасается съ личностью Марьи Андревны, принадлежатъ въ комедіи три лица: Меричъ, Милашинъ и Хорьковъ.—Это люди съ разнымъ образованіемъ: Хорьковъ проходилъ университетскій курсъ; Меричъ учился „чему-нибудь и какъ-нибудь“, нахватался кое-какихъ верхушекъ виѣшней образованности. Но тѣмъ не менѣе всѣ они принадлежатъ къ одному слою общества, къ слою образованному, или цивилизованному.— И всѣ они, по смыслу комедіи, оказываются людьми несостоятельными; ни на кого изъ нихъ не можетъ опереться Марья Андревна.

Въ нравственномъ отношеніи эти люди очень рѣзко отличаются другъ отъ друга. Хорьковъ—человѣкъ честный и сердечный. *Меричъ*—негодяй.

И вотъ этого-то негодяя, не понимая его, и полюбила простая, искренняя дѣвушка Марья Андревна.—*Меричъ*, человѣкъ совершенно безъ правилъ, по словамъ Хорькова, составилъ себѣ спеціальность изъ волокитства за женщинами. Его величайшее наслажденіе—тщеславно хвалиться своими побѣдами.

Онъ еще мальчишкой былъ, самъ къ себѣ письма писывалъ, да хвастался товарищамъ въ пансіонѣ, что отъ барышень получаетъ (157—158),

разсказываетъ про него Хорьковъ.

Ослѣпляемый своимъ постояннымъ желаніемъ рисоваться, очень мало думая, не уважая нравственныхъ законовъ, *Меричъ* готовъ первому встрѣчному открыть тайну обманутой имъ или увлекавшейся имъ дѣвушки.

Мнѣ всегда жаль, когда хорошенькія дѣвушки замужъ выходятъ,

говорить онъ Милашину, съ которымъ даже мало знакомъ.

Софи Барашкова тоже недавно вышла замужъ. Вы ее не знали?
— Нѣтъ, не зналъ.

Мы были очень привязаны другъ къ другу. Вамъ я могу признаться, Иванъ Ивановичъ,—вы, конечно, никому не скажете: она меня очень любила. Вотъ посмотрите, какое она мнѣ письмо написала передъ свадьбой. (Вынимаетъ). Хотите прочесть?

— Зачѣмъ же я буду читать чужія письма? (возмущается Милашинъ).

Какъ хотите!.. Я надѣюсь, что вы никому не скажете. (156—157).

Меричъ чрезвычайно остороженъ (и ему легко быть осторожнымъ, какъ человѣку совершенно холодному);

ухаживая за Марьей Андревной, онъ не прежде признается ей въ любви, какъ узнаетъ, что та выходитъ замужъ. — Порисовавшись передъ нею, упрекнувши ее за положительность и практическія правила, похваливъ иронически за пожертвованіе собой для матери, заявивши, что не хочетъ колебать ея рѣшимости, онъ затѣмъ говоритъ:

Теперь, когда ужъ дѣло кончено. . . . я могу вамъ сказать, что я васъ любилъ, Марья Андревна, любилъ страстно; я васъ до сихъ поръ люблю такъ, какъ никто васъ любить не будетъ!

Меричъ любить порисоваться разочарованнымъ, много испытавшимъ въ жизни человѣкомъ, уставшимъ отъ жизни, отъ испытанныхъ чувствъ и волненій. Онъ представляетъ себя затѣмъ жертвой рока и обстоятельствъ.

Онъ такъ тупъ нравственно, что эта тупость переходитъ и на его разсудокъ, затмѣваетъ его. — Когда Марья Андревна рассказываетъ ему о Беневоленскомъ, просить его совѣта — какъ поступить, что дѣлать, — онъ не хочетъ объ этомъ разговаривать. „Да ты меня не слушаешь!“ замѣчаетъ она.

Я гляжу на твои глазки. Какія они у тебя хорошенькіе. Такъ и хочется поцеловать. Я помню другіе такіе глазки... Она умерла... Бѣдная женщина! Ну, да что толковать о прошедшемъ: будемъ пользоваться настоящимъ. Ахъ, Мери, много я пережилъ... Я боюсь, хватить-ли у меня силъ, чтобъ отвѣчать твоей дѣтской любви. Если-бъ я встрѣтилъ тебя, Мери, года два тому назадъ!..

Марья Андревна снова переводитъ разговоръ на дѣло, на жениха, — а Меричъ, не слушая, продолжаетъ свое:

Ахъ, Боже мой, Мери, я люблю тебя! Я радъ случаю, что засталъ тебя одну, а ты мнѣ рассказываешь про маменьку, про жениховъ какихъ-то; до какое мнѣ дѣло до нихъ!

— Тебѣ, кажется, и до меня нѣтъ никакого дѣла, потому что ты не хочешь войти въ мое положеніе! Богъ съ тобой!

скорбно замѣчаетъ ему оскорбленная дѣвушка. — А онъ

начинает сердиться, представляться обиженным и непонятымъ.

Я ужъ и такъ измученъ жизнью (говоритъ онъ), а ты мнѣ не хочешь доставить ни одной минуты неотравленного удовольствія.

Любящая Марья Андревна уступаетъ ему, проситъ помириться; а онъ нагло и безсердечно опять заговариваетъ о какой-то прежней своей любви: „ахъ, Мери, я вспомнилъ одну женщину: вотъ это была любовь“, и затѣмъ, замѣтивъ неудовольствіе Марьи Андревны, упрекаетъ ее за ревность, говоритъ, что любить дразнить ревнивыхъ женщинъ...

Когда Марья Андревна обращается къ нему за рѣшительнымъ словомъ и дѣломъ, проситъ спасти ее отъ Беневоленскаго, онъ притворяется растерявшимся, предлагаетъ поговорить хладнокровно; заявляетъ, что онъ этого не ожидалъ; нагло и глупо спрашиваетъ: „скажи же мнѣ, Мери, сдѣлай милость, чего тебѣ отъ меня хочется?“ и затѣмъ безстыдно отказывается отъ женитьбы, ссылаясь на тяготящія надъ нимъ какія-то обстоятельства. Наглость его и привычка рисоваться такъ велики, что онъ и теперь, вмѣсто того, чтобы удалиться со стыдомъ, смѣло говоритъ:

То-то вотъ, все еще неопытность! Мнѣ надобно было бѣжать отъ тебя. Зачѣмъ я тебя встрѣтилъ! О судьба, судьба! Мнѣ легче бы было совсѣмъ не видать тебя, нежели смотрѣть, какъ ты страдаешь.

Однако онъ тутъ-же и проговаривается:

я не думалъ (неожиданно заявляетъ онъ), что ты такъ привяжешься ко мнѣ.

— Что же ты думалъ?

Я думалъ, что изъ нашихъ отношеній не выйдетъ ничего серьезнаго.

— Ты хотѣлъ позабавиться отъ скуки, для развлечения, не правда-ли?

Привычка рисоваться до такой степени вѣлася въ Мерича, что онъ, кажется, самъ начинаетъ вѣрить многому въ своихъ словахъ. Придя на свадьбу Марьи Андревны проститься съ нею, и безсердечно и безсѣстно намекнувъ ей, что ея мечты объ исправленіи Беневоленскаго—несбыточны,—онъ затѣмъ съ напускнымъ паѳосомъ распространяется съ Милапинымъ о своей любви къ Марьѣ Андревнѣ, объ ея отвѣтномъ чувствѣ, о томъ, какъ ей отъ этого тяжело, и нахально просить Милашина:

Сдѣлайте милость, если замѣтите, что она будетъ очень грустить, утѣшайте ее: вы меня этимъ обяжете. И пожалуйста, старайтесь сдѣлать такъ, чтобы ничто ей не напоминало меня. Я на васъ надѣюсь, Иванъ Ивановичъ. Прощайте... (232).

Въ этомъ послѣднемъ своемъ явленіи въ пьесѣ Меричъ представляется намъ лицомъ комическимъ,—и здѣсь достойная казнь ему со стороны поэта.

Совершенно иной человѣкъ—*Хориковъ*,—человѣкъ хорошій, съ сердцемъ. И такъ онъ рѣзко отличается отъ Мерича въ поэтической сценѣ своего объясненія въ любви!

Я теперь не могу ни за кого идти... (говорить ему Марья Андревна).

— Неужели ни за кого?

Рѣшительно ни за кого.

— А если-бъ я за васъ посватался? (Принужденно смѣется). Я шута васъ спрашиваю.

И за васъ-бы не пошла. Я съ вами дружна, а любить васъ не могу.

— А какъ-бы я любилъ васъ! Какъ-бы я старался угождать вамъ! Съ какой-бы готовностью исполнялъ малѣйшее ваше желаніе! Съ какой-бы благодарностью я принималъ каждую вашу ласку.

Островскій въ его произведеніяхъ.

Онъ любитъ Марью Андревну, искренно, отъ всей души; но онъ робокъ, лишенъ энергіи, слабъ характеромъ. — Марья Андревна чувствуетъ къ нему дружбу, открываетъ даже ему отчасти свое сердце... и кто знаетъ? будь у него больше инициативы, воли, — она бы его могла полюбить, и все-бы и въ его, и въ ея жизни пошло иначе; но онъ таковъ по своему характеру, что она даже не знаетъ его какъ слѣдовало-бы:

Я очень жалѣю, что поздно васъ узнала,

говорить она ему, уже рѣшившись выдти за Беневоленскаго. — У Хорькова такъ мало энергіи, что онъ, задумавъ спасти любимую дѣвушку отъ Мерича, имѣя въ рукахъ нѣкоторыя средства для этого — письма Мерича, не дѣйствуетъ самъ, а поручаетъ дѣло Милашину, — между тѣмъ какъ ему самому Марья Андревна повѣрила бы гораздо болѣе.

Самопожертвованіе Марьи Андревны до глубины души растрогало Хорькова; онъ понимаетъ все горе, предстоящее въ жизни бѣдной дѣвушкѣ:

Это жертва... да, жертва. Что-жь, благородно... благородно... слезы... слезы... вѣчныя слезы... чахотка, не живши, не видавши радостей жизни... (223).

Но, умѣя сострадать, Хорьковъ не умѣетъ помочь; умѣя чувствовать — онъ не можетъ дѣйствовать. И таковъ онъ былъ и раньше встрѣчи съ Марьей Андревной: лишенный твердости и самообладанія, онъ не взялъ себя въ руки — и нравственно опустился:

Какой я жалкій человѣкъ! (говорить онъ). Однако, что я дѣлаю наконецъ! за что же я гублю себя? Вотъ уже 3 года, какъ я кончилъ курсъ; и въ эти 3 года я не сдѣлалъ ровно ничего для себя. Меня обдастъ холодомъ, когда я вспомню, какъ я про-

жилъ эти три года! Лѣнь, праздность, грязная холостая жизнь—и никакихъ стремленій выйти изъ этой жизни, ни капли самолюбія (150—151).

Слабость воли, какъ мы видимъ, повела къ потерѣ нравственной чистоты... Хорьковъ сознаетъ, что въ чувствѣ любви къ Марьѣ Андревнѣ заключена возможность его возрожденія.

Для себя я ни на что не рѣшусь, я это знаю (говорить онъ).

Въ ней мое единственное спасеніе...

Но онъ не рѣшается, не смѣетъ сказать ей о своемъ чувствѣ,—а между тѣмъ въ этомъ чувствѣ, можетъ быть, было и ея спасеніе. Онъ говоритъ, наконецъ, только тогда, когда уже было поздно: когда она любила Мерича и почти рѣшилась выдти за Беневоленскаго. Да собственно говоря—и тогда еще не было поздно, если-бы у Хорькова хватило энергіи и вѣры: Мерича Марья Андревна въ сущности не любила (она его не знала и любила свою мечту, которую воплотила въ немъ), Беневоленскій не могъ бы предстать непреодолимымъ препятствіемъ... но у Хорькова не было душевной силы—и онъ только запилъ съ горя, и окончательно загубить себя.

Милашинъ въ нравственномъ отношеніи занимаетъ середину между Меричемъ и Хорьковымъ. Онъ не пошлый человѣкъ; онъ возмущается низостью Мерича; онъ сострадаетъ Марьѣ Андревнѣ. Но онъ эгоистъ, вѣчно думающій только о себѣ, и очень смѣшонъ этой постоянной заботой о своей особѣ, заботой, доходящей до мелочей.

Вы все о себѣ. Вы обо мнѣ-то подумайте хоть немножко (149), говоритъ ему Марья Андревна, когда онъ, услышавъ о сватовствѣ Беневоленскаго, выражаетъ сокрушенія о своей участи и заявляетъ, что, кажется, этого не перенесетъ.

Когда Хорьковъ, встревоженный отношеніями Марьи Андревны къ Меричу, спрашиваетъ Милашина о посѣщеніяхъ послѣдняго, говоритъ, что нехорошо, что эти посѣщенія часты, Милашинъ наивно - себялюбиво восклицаетъ:

Да вы представьте мое-то положеніе: каждый день ходить чортъ знаетъ зачѣмъ!

— Да вамъ-то что-жь? (удивленно спрашиваетъ Хорьковъ).

Нѣтъ, какъ хотите, Михайло Ивановичъ, это мнѣ ужасно не-пріятно.

— Тутъ не объ васъ толкъ... (157).

Есть не одно мѣсто въ комедіи, гдѣ Милашинъ комически-жалокъ своими мелочными претензіями, гдѣ онъ изъ эгоизма теряетъ чувство собственнаго достоинства. Такова, напр., одна изъ послѣднихъ сценъ, гдѣ на свадьбѣ Марьи Андревны онъ думаетъ и сокрушается не о бѣд-ной, пожертвовавшей собой дѣвушкѣ, а о томъ, что она на него не обращаетъ вниманія, во весь вечеръ не ска-зала съ нимъ ни одного слова.

Или лицо у меня не такъ выразительно, что-ли? (спрашиваетъ онъ самого себя). Мнѣ хотѣлось-бы, чтобы лицо мое выражало те-перь самую глубокую скорбь,—

и онъ начинаетъ передъ зеркаломъ пытаться выразить скорбь. Здравый смыслъ подсказываетъ ему, что въ стеклѣ отразилось—„глупое выраженіе... смѣшное даже!“ Но и смѣхъ не можетъ остановить его нелѣпыхъ претензій: „нѣтъ, пусть же она замѣтитъ злую иронію въ моихъ глазахъ“, продолжаетъ онъ рисоваться передъ зерка-ломъ.—Онъ завидуетъ, унижая свое достоинство, Ме-ричу, съ которымъ Марья Андревна, какъ онъ думаетъ, приходила прощаться... А между тѣмъ онъ не глупъ, нѣтъ, человѣкъ добрый и честный...

Меричъ, Хорьковъ и Милашинъ—три типическихъ представителя молодого поколѣнія интеллигентной среды, и всѣ трое, негодая, хорошій человѣкъ и человѣкъ средній, всѣ оказываются вполнѣ несостоятельными, ни въ одномъ Марья Андревна не могла найти поддержки. Здѣсь выразился взглядъ поэта на интеллигентную среду, его сомнѣнія въ ней, лучше сказать—его отрицательныя отношенія къ ней. Чиновничество оказалось, по смыслу драмы, гораздо основательнѣе, гораздо надежнѣе, даже умственнo и нравственнo выше, чѣмъ люди интеллигентнаго общества: старикъ Добротворскій обладаетъ несомнѣнными положительными достоинствами; въ Беневоленскомъ Марья Андревна не только видитъ человѣка, который спасетъ ее и мать отъ бѣдности и униженія,—она надѣется повліять на него, исправить его и даже быть счастливой съ нимъ. Правда, она сомнѣвается въ успѣхѣ своихъ благихъ намѣреній; но сомнѣніе не есть еще невѣріе. Да и въ самомъ поэтѣ нѣтъ этого невѣрія: вопросъ о будущемъ Беневоленскаго остается въ драмѣ открытымъ...

Другое дѣло: правъ-ли поэтъ, такъ принижая образованный слой общества, ставя его ниже чиновническаго міра и идеализируя нѣсколько этотъ послѣдній?

Впрочемъ, идеализація такъ незначительна, непосредственная творческая сила такъ велика въ Островскомъ, что онъ не могъ далеко отойти отъ правды, и его Беневоленскіе и Добротворскіе все-таки не привлекаютъ къ себѣ симпатіи читателей: поэтъ ярко нарисовалъ передъ нами ихъ отталкивающія свойства.

Это усиливается еще введеніемъ въ комедію одного эпизодическаго лица изъ народа—Дуни.—Дуня не изъ лучшихъ людей,—она женщина падшая... И однако—она стоитъ безконечно выше всѣхъ героевъ комедіи

(конечно, кромѣ Марьи Андревны): свидѣтельство, что сердце поэта въ эпоху написанія „Бѣдной невѣсты“ было всецѣло на сторонѣ народа, и тамъ, и только тамъ искало и видѣло нравственную правду.—Дуня любила Беневоленскаго, но не видала съ нимъ счастья. „Что я жила? маялась“, говоритъ она. И вотъ она желаетъ развязаться съ нимъ, и не столько для себя, сколько для него: она надѣется, что онъ, если женится на хорошей барышнѣ, остепенится, порядочнымъ человѣкомъ станетъ... Великодушно отказываясь отъ него, она такъ-же великодушно, съ любовью и состраданіемъ относится къ его молодой женѣ.

Хороша вѣдь, Паша (говоритъ она своей подругѣ про Марью Андревну), ужъ можно сказать, что хороша,

и затѣмъ, обращаясь къ Беневоленскому, наказываетъ ему строго и честно:

Только съумѣешь-ли ты съ такой женой жить? Ты, смотри, не загуби чужаго вѣку даромъ. Грѣхъ тебѣ будетъ. Остепенись, да живи хорошенько. Это вѣдь не со мной: жили, жили, да и былъ таковъ. (237).

Дуня оканчиваетъ эпизодъ своего появленія въ драмѣ грубымъ, вульгарно-ухарскимъ восклицаніемъ: „О! махнемъ рукой, Паша, завьемъ горе веревочкой!.. Адье, мусье!“ Въ этомъ восклицаніи сказались, конечно,—житье ея въ дурной средѣ, циническая грубость ея нрава. Но нельзя не замѣтить, что за этимъ ухарскимъ восклицаніемъ кроется и тоска разбитаго сердца, плачь по несбывшимся мечтамъ и надеждамъ.

Закончу разборъ „Бѣдной невѣсты“ указаніемъ на одну замѣчательную мысль Апол. Григорьева. Выясняя на этой пьесѣ особенность міросозерцанія Островскаго, оригинальность его отношенія къ изображаемымъ имъ людямъ, критикъ сравнилъ эти отношенія съ отноше-

ніями къ жизни двухъ литературныхъ школъ: лермонтовской, или байронической, и школы сентиментальнаго натурализма (какъ онъ выразился). Писатель-представитель перваго изъ поименованныхъ направленій впалъ бы непременно, говоритъ Григорьевъ, въ идеализацію Мериша, его непризнанныхъ міромъ страданій; а Марью Андревну заставилъ-бы изныть, изнемочь, задохнуться въ окружающей ее пошлой средѣ. — Писатель другаго направленія—идеализировалъ-бы Добротворскаго: добрый старикъ оказался-бы у него влюбленнымъ въ Марью Андревну, и поблажая его старческимъ нечистымъ поползновеніямъ, авторъ женилъ-бы его на молодой дѣвушкѣ (какъ Мошкинъ въ „Холостякѣ“ Тургенева женится на своей юной воспитанницѣ) и закончилъ-бы болѣзненной, разслабленной идилліей его семейнаго счастья. — Взглядъ Островскаго на жизнь—иной, болѣе правдивый и вѣрный, болѣе трезвый: спокойно посмотрѣлъ онъ на своихъ героевъ и спокойно, безпристрастно воздалъ каждому по дѣламъ его.

Мысль Григорьева—несомнѣнно прекрасная мысль; хотя надо замѣтить, что вѣрность ея—не есть, однако, абсолютная вѣрность. Мы видѣли, что Островскій въ своей „Бѣдной невѣстѣ“ какъ-будто принижаетъ интеллигентный міръ передъ чиновничьимъ; мы видѣли, что онъ, обыкновенно вполне вѣрный правдѣ въ своихъ изображеніяхъ, погрѣшаетъ, однако, нѣсколько противъ этой правды, рисуя характеръ Добротворскаго: старый плутъ (хоть и съ добрымъ сердцемъ, но все-таки плутъ) оказывается у него безконечно-благодушнымъ человекомъ.

Таково міросозерпаніе Островскаго въ первой его пьесѣ изъ чиновничьяго быта.

ГЛАВА IX.

„Доходное мѣсто“.

Иное уже видимъ мы въ другой его большой комедіи того-же порядка—въ *„Доходномъ мѣстѣ“*.—Здѣсь опять противопоставлены другъ другу—чиновничество и образованный міръ. Но симпатіи поэта клонятся явно на сторону міра образованнаго, и чиновничество нарицено въ мрачномъ видѣ.

Чиновничій міръ въ *„Доходномъ мѣстѣ“* представленъ, очень разнообразно,—Вышневымъ, Юсовымъ, Бѣлогубовымъ и семьей Кукушкиныхъ. —Люди интеллигентнаго общества въ комедіи: Жадовъ, Досужевъ, Мыкинъ, Вышневская.

Поэтъ не только симпатизируетъ въ комедіи образованнымъ людямъ, но онъ и вѣритъ въ этихъ людей, въ ихъ торжество (если не теперь, такъ современемъ) надъ грубымъ міромъ взяточничества и казнокрадства; поэтъ вѣритъ, не смотря даже на то, что его Жадовъ оказывается слабымъ и не героически стоитъ за свои честныя убѣжденія. Комедія написана была въ ту эпоху, когда Островскій начиналъ уже сомнѣваться въ безусловной высотѣ исключительно-народной жизни и когда русское общество было охвачено духомъ свѣтлаго дви-

женія впередъ, когда начинались реформы покойнаго Государя.

„Не стая вороновъ слеталась...“ Такими словами изъ Пушкинскихъ „Братьевъ разбойниковъ“ провожаетъ угощавшуюся въ трактирѣ чиновничью компанію Досужевъ.

Первое мѣсто въ этой стаѣ вороновъ принадлежитъ Аристарху Владиміровичу *Вышневному*.

Вышевскій занимаетъ довольно высокое положеніе въ служебной іерархіи. Онъ уменъ, образованъ, и хотя не „твердъ въ законѣ“ (по словамъ Юсова), потому что изъ „другого вѣдомства“, но однако можетъ быть названъ настоящимъ дѣльцомъ,—„геній“, по выраженію того-же Юсова. Казнокрадъ и взяточникъ, Вышевскій усвоилъ себѣ скептическій взглядъ на жизнь, на общество, и успокаиваетъ свою совѣсть этимъ напускнымъ скептицизмомъ. Онъ совѣтуетъ племяннику бросить „за-виральныя идеи“, прекратить свои проповѣди о добродѣтели и честности—и жить и служить, „какъ служатъ всѣ порядочные люди, т. е. глядя на жизнь и на службу практически“; спокойствіе совѣсти не спасетъ отъ голоду; въ обществѣ замѣтно распроостраняется роскошь, а рядомъ съ нею не живутъ спартанскія добродѣтели; что-же касается общественнаго мнѣнія, то у насъ его нѣтъ.

Вотъ тебѣ общественное мнѣніе: не пойманъ—не воръ. Какое дѣло обществу, на какіе доходы ты живешь, лишь бы ты жилъ прилично и велъ себя, какъ слѣдуетъ порядочному челоѣку... Я служилъ въ губернскихъ городахъ: тамъ короче знаютъ другъ друга, чѣмъ въ столицахъ; знаютъ, что каждый имѣетъ, чѣмъ живетъ, слѣдовательно, легче можетъ составиться общественное мнѣніе. Нѣтъ, люди—вездѣ люди. И тамъ смѣялись при мнѣ надъ однимъ чиновникомъ, который жилъ только на жалованье съ большою семьей, и говорили по городу, что онъ самъ себѣ шьетъ сюртуки,

и тамъ весь городъ уважалъ первѣйшаго взяточника, за то, что онъ жилъ открыто и у него по два раза въ недѣлю бывали вечера“ (174).

Вышневецкій не совѣтуетъ Жадову жениться на бѣдной дѣвушкѣ, не имѣя выгоднаго мѣста, не отказавшись отъ своихъ фантазій. Ты обязанъ, говоритъ онъ, прилично содержать жену, платить ей за любовь подарками, довольствомъ, роскошью.

На любовь и семью, на взаимныя отношенія мужа и жены Вышневецкій смотритъ цинически-грубо и злобно. Онъ знаетъ, что его жена не любитъ его; да онъ, жениась, и не искалъ любви въ возвышенномъ и благородномъ смыслѣ этого слова; онъ смотрѣлъ на избранную имъ дѣвушку какъ волокита и сатиръ, онъ видѣлъ ея отвращеніе къ себѣ, но онъ (по ея собственному позднѣйшему выраженію) купилъ ее за деньги у родственниковъ, какъ покупаютъ невольницъ въ Турціи, и покупку свою—замаскировалъ бракомъ,—„иначе нельзя было:“ родственные „не согласились-бы“, а для него было все равно. И затѣмъ онъ успокоился: онъ счелъ себя въ-правѣ требовать ласкъ жены за подарки. Видя ея холодность, онъ просилъ ее хотъ притвориться любящей: поддѣлка или правда, для него разница не очень велика.

Спокойствіе Вышневецаго, служебное и семейное, порой нарушается непріятными встрѣчами, вродѣ встрѣчи съ Любимовымъ, молодымъ человѣкомъ, который горячо и честно говорилъ въ обществѣ противъ неправды, обличая зло въ глаза, и котораго, за его умъ и чистоту, полюбила Вышневецкая. Но съ подобными встрѣчами, съ непріятными ему людьми Аристархъ Владиміровичъ раздѣляется смѣло и безпощадно, не стѣняясь совѣстью и тому подобными предразсудками. Клеветой,

сплетнями, обвиненіями въ вольнодумствѣ и доносами онъ погубилъ Любимова.

Одерживая и умѣя одерживать такія побѣды, Вышне-
невскій, повидимому, долженъ быть спокоенъ. Онъ, дѣй-
ствительно, и представляется спокойнымъ. — Но въ глу-
бинѣ души его грызетъ червь сомнѣнія и страха. Онъ
самъ, въ концѣ комедіи, въ порывѣ отчаянья и само-
довольной злобы, внезапно открываетъ это Жадову, когда
тотъ пришелъ просить выгоднаго мѣста. Онъ смѣется
надъ племянникомъ, отрекающимся отъ заvirальныхъ
идей, но при этомъ признается ему, что прежде вѣрилъ
правдѣ его обличеній и предсказаній:

Признаюсь тебѣ, я вѣрилъ. Я васъ глубоко ненавидѣлъ... я васъ
боялся. Да, не шутя. — И что-же оказывается! (успокоительно для
себя прибавляетъ Вышне-
невскій). Вы честны до тѣхъ поръ, пока не
выдохлись уроки, которые вамъ долбили въ голову; честны только
до первой встрѣчи съ нуждой! Ну, обрадовалъ ты меня, нечего ска-
зать!... Нѣтъ, вы не стойте ненависти — я васъ презираю! (250).

„Я васъ презираю!“ — Эти слова повидимому свидѣ-
тельствуютъ, что Вышне-
невскій опять успокоился; но спо-
койствіе его ненадежно, — онъ и самъ это чувствуетъ.
Когда Жадовъ очнулся отъ временнаго помраченія со-
вѣсти и ума и опять вернулся къ идеаламъ добра и
правды, — и къ Вышне-
невскому вернулись его сомнѣнія и
страхи. Онъ гонитъ Жадова вонъ; онъ кричитъ ему: „я
задушу тебя своими руками“ — и безъ чувствъ падаетъ,
пораженный физически, потому что пораженъ нравственно.

И такое же пораженіе терпитъ онъ и въ своихъ от-
ношеніяхъ къ женѣ. Спокойный, повидимому, потому что
считаетъ ее обязанной вѣчной благодарностью за изба-
вленіе отъ бѣдности, онъ въ сущности боится порывовъ
ея самостоятельности. Когда онъ началъ было злобно и

безопасно корить ее за неисполнение долга, по поводу ее писемъ къ Любимову, мѣра ея терпѣнія переполнилась: она въ глаза высказала ему все втеченіи годовъ накопившееся на сердцѣ негодованіе, — и онъ потрясенъ ея правдивыми укорами, потрясенъ такъ-же сильно, какъ заvirальными идеями племянника.

Самолюбіе заставляетъ Вышневекаго до конца не выдавать себя: отданный подъ судъ, онъ не хочетъ сознаться, что пострадалъ за взятки, — говорить, что его пересилили завистники. Но онъ здѣсь просто лицемеритъ изъ самолюбія и упрямства. Человѣкъ умный и сознательный, онъ, конечно, понимаетъ, что въ жизни могутъ восторжествовать и свѣтлыя начала.

Юсовъ и Бѣлогубовъ, достойные помощники и подчиненные Вышневекаго, въ противоположность ему, живутъ скорѣй безсознательной жизнью. Акимъ Акимычъ Юсовъ, выросшій въ атмосферѣ присутственнаго мѣста, обученный на мѣдныхъ деньги, весь, всею душою и тѣломъ преданъ службѣ, разумѣя подъ службою — служеніе лицамъ и своимъ матерьяльнымъ интересамъ. Начальство — для него авторитетъ безусловный, мелкій подчиненный чиновникъ — ничтожество.

Обратили на тебя вниманіе, ну, ты и человѣкъ, дышешь; а не обратили — что ты?

поучаетъ онъ Бѣлогубова.

Образованныхъ людей, „верхоглядовъ“ Юсовъ терпѣть не можетъ, потому что въ нихъ нѣтъ почтительности къ начальству, „трепету“. Онъ возмущается „мальчишками“, смѣющими носъ поднимать.

Акимъ Акимычъ нажилъ себѣ состояніе, купилъ 3 домика на имя жены въ отдаленной части города, держитъ четверку лошадей, и доволенъ собою, своей судьбой, своей участью. Разказавъ Кукушкиной, какъ маль-

чикомъ началъ онъ службу, какъ привели его въ трапезномъ халатишкѣ въ присутственное мѣсто, какъ сидѣлъ онъ первоначально даже не на стулѣ, а на связкѣ бумагъ, и писалъ не изъ чернильницы, а изъ помадной банки, Акимъ Акимычъ заключаетъ:

А вотъ вышелъ въ люди. Конечно, все это не отъ насъ... свыше... знать, ужъ такъ надобно было мнѣ быть человѣкомъ и занимать важный постъ. Иногда думаемъ съ женой: за что такъ насъ Богъ возскалъ своею милостью? На все судьба... и добрая дѣла нужно дѣлать... помогать немущимъ (188).

Акимъ Акимычъ находитъ себя человѣкомъ хорошимъ, успокаиваетъ свою совѣсть мелкою помощью бѣднымъ, покровительствомъ глупымъ, но почтительнымъ молодымъ чиновникамъ, и считаетъ себя исполнившимъ назначеніе человѣка. Со смиреннымъ самодовольствомъ говоритъ онъ, что въ немъ нѣтъ гордости:

А гордости во мнѣ нѣтъ-съ. Гордость ослѣпляетъ... Мнѣ хоть мужикъ... я съ нимъ, какъ съ своимъ братомъ... все равно, ближній.

Разсужденія Юсова о спокойствіи совѣсти доходятъ до идиллическаго сентиментальничанья въ чудесной сценѣ пирушки въ трактирѣ, когда, довольный угощеніемъ своего преданнаго подчиненнаго и ученика, старикъ пляшетъ подъ машину:

Мнѣ можно плясать! (разсуждаетъ онъ). Я все въ жизни сдѣлалъ, что предписано человѣку. У меня душа спокойна, сзади ноша не тянетъ, семейство обезпечилъ—мнѣ теперь можно плясать. Я теперь только радуюсь на Божій міръ! Птичку увижу, и на ту радуюсь: цвѣтокъ увижу, и на него радуюсь, — премудрость во всемъ вижу..... Другихъ не осуждаю..... Кого мы можемъ осуждать! Мы не знаемъ, что еще сами-то будемъ!.. Посмѣялся ты нынче надъ пьяницей, а завтра самъ, можетъ быть, будешь пьяницей; осудишь нынче вора, а можетъ быть самъ завтра будешь воромъ. Почему

мы знаемъ свое опредѣленіе, кому чѣмъ быть назначено?... Гордость! гордость! Я плясалъ отъ полноты души. На сердцѣ весело, на душѣ спокойно! Я никого не боюсь! Я хоть на площади передъ всѣмъ народомъ буду плясать. Мимоходящіе скажутъ: „сей человѣкъ пляшетъ, должно быть душу имѣетъ чисту!“ и пойдеть всякій по своему дѣлу.

„Судьба!“ — часто говоритъ Акимъ Акимычъ. Онъ создалъ себѣ вѣрованіе въ судьбу — и на этомъ успокоился. Когда палъ Вышневецкій, онъ пускается по этому поводу въ фаталистическія разсужденія о гордости.

Полноте, какая тутъ гордость! просто взятки (говоритъ ему Вышневецкая).

— Взятки? Взятки что-съ, маловажная вещь (возражаетъ Акимъ Акимычъ)... Многіе подвержены. Смиренія нѣтъ, вотъ главное... Судьба все равно, что фортуна... Какъ изображается на картинѣ... Колесо, и на немъ люди... Поднимается кверху и опять опускается внизъ, возвышается и потомъ смиряется, превозносится собой и опять ничто... такъ все кругообразно. Устраивай свое благосостояніе, трудись, приобретаай имущество... возносишься въ мечтахъ... и вдругъ нагъ!.. Вотъ что раскусить надо! Вотъ что долженъ человѣкъ помнить! Мы родимся, ничего не имѣемъ, такъ и въ могилу. Для чего-же трудимся? Вотъ философія! Что нашъ умъ? Что онъ можетъ постигнуть?

Чудесны эти наивно-глубокомысленныя разсужденія стараго плута; чудесно изобразилъ его образъ Островскій. Но едва-ли и здѣсь поэтъ не погрѣшилъ нѣсколько противъ истины (какъ въ „Бѣдной невѣстѣ“), оставивъ въ тѣни плутоватость Юсова. Не обманываетъ ли старикъ себя самого своею глубокомысленной философіей? не хитритъ ли онъ передъ самимъ собою? не такъ ужъ онъ безсознателенъ, чтобы не понимать своей нечестности.

Акимъ Акимычъ покровительствуетъ почтительнымъ молодымъ чиновникамъ, тѣсня „для пользы службы“ — образованныхъ верхоглядовъ и либераловъ. У него (по

его словамъ) больше лежитъ сердце къ простымъ людямъ.

При нынѣшнихъ строгостяхъ (говоритъ онъ), случается съ чело­вѣкомъ несчастіе, выгонять изъ уѣзднаго училища за неуспѣхи, или изъ низшихъ классовъ семинаріи: какъ его не призрѣть? Онъ и такъ судьбой убитъ, всего онъ лишентъ, всѣмъ обиженъ. Да и люди выходятъ по нашему дѣлу понятливѣе и подобострастнѣе, душа у нихъ открытѣе.

И вотъ такую открытую и подобострастную душу Юсовъ и нашелъ въ *Бѣлогубовѣ*. Бѣлогубовъ безграмотенъ, невѣжественъ, и самъ смиренно сознаетъ это и не претендуетъ даже на мѣсто выше столоначальника. Но онъ умѣетъ услужить начальству, у него достаточно „трепету“ передъ высшими, — и онъ далеко пойдетъ. Человѣкъ ограниченный, онъ, однако, отлично умѣетъ нажиться.

Ты что-то нынче разгулялся! Должно-быть, ловко хватилъ? (говоритъ ему Юсовъ въ трактирѣ на пирушкѣ).

— Попало-таки! А кому? все вамъ обязанъ.

Зацѣпилъ должно быть?

— Вотъ онъ-съ.

Да ужъ я знаю тебя, у тебя рука-то не сфальшивить.

— Нѣтъ, позвольте! Кому же я обязанъ? Развѣ бы я понималъ что, кабы не вы? Отъ кого я въ люди пошелъ, отъ кого жить сталъ, какъ не отъ васъ? Подъ вашимъ крыломъ воспитался! Другой бы того и въ десять лѣтъ не узналъ, всѣхъ тонкостей и оборотовъ, что я въ 4 года узналъ. Съ васъ примѣръ бралъ во всемъ, а то гдѣ-бы мнѣ съ моимъ-то умомъ! Другой отецъ того не сдѣлаетъ для сына, что вы для меня сдѣлали.

И растроганный подвыпившій Бѣлогубовъ утираетъ слезы на глазахъ, и лѣзетъ цаловать у Юсова руку и просить его зайти какъ-нибудь къ нимъ, осчастливить ихъ:

Мы еще съ женой люди молодые, посовѣтовали бы намъ, ученье-бы сказали, какъ жить въ законѣ и всѣ обязанности испол-

нять. Кажется, будь каменный человекъ, и тотъ въ чувство придетъ, какъ васъ послушаетъ (209—210).

Несомнѣнно искренни эти слова. Но едва-ли не такъ-же несомнѣнно, что есть въ нихъ и доля обмана и хитрости. Человѣкъ ловкій и осторожный, Бѣлогубовъ, какъ и Юсовъ, понимаетъ гораздо больше, чѣмъ самъ выражаетъ, и въ глубинѣ своей совѣсти, конечно, чувствуетъ, что взятки и есть взятки, а не благое и хорошее дѣло.

И вотъ среди подобныхъ образованныхъ и невѣжественныхъ, сознательныхъ и безсознательныхъ грабителей, казнокрадовъ и взяточниковъ вывелъ Островскій благородную, честную личность *Жадова*. Слабый волею, но чистымъ чувствомъ любящій свои высокіе идеалы, Жадовъ сталкивается съ крѣпкимъ вѣрою въ себя бюрократическимъ міромъ, колеблется, падаетъ, опять подымается...

Василій Николаевичъ Жадовъ—молодъ и лѣтами, и духомъ; онъ честно смотритъ на жизнь, и открыто, смѣло высказываетъ свои благородныя убѣжденія. Зато онъ прослылъ среди Вышнеvesкихъ и Юсовыхъ вольнодумцемъ, человѣкомъ грубымъ и неуважающимъ старшихъ. Вышнеvesкій подсмѣивается надъ нимъ, надъ его непрактичностью:

Представьте (иронически говорить онъ про Жадова, обращаясь къ своей женѣ): читаетъ въ канцеляріи писарямъ мораль; а тѣ, натурально, ничего не понимаютъ, сидятъ, розиня ротъ, выпуча глаза. Смѣшно, любезный!

— Какъ я буду смолчать (возражаетъ Жадовъ), когда на каждомъ шагу вижу мерзости? Я еще не потерялъ вѣру въ человѣка; я думаю, что мои слова произведутъ на нихъ дѣйствіе.

Онъ ужъ и произвели: ты сталъ посмѣшищемъ всей канцеляріи.

(169).

Жадова обвиняють въ нетерпимости.— „Одно меня беспокоитъ: ваша нетерпимость“, говоритъ ему сочувствующая его воззрѣнiямъ Вышневецкая: „вы постоянно наживаете себѣ враговъ“.

Да (отвѣчаетъ онъ), мнѣ всѣ говорятъ, что я нетерпимъ, что отъ этого я много теряю. Да развѣ нетерпимость недостатокъ? Развѣ лучше равнодушно смотрѣть на Юсовыхъ, Бѣлогубовыхъ и на всѣ мерзости, которыя постоянно кругомъ тебя дѣлаются? Отъ равнодушія недалеко до порока. Кому порокъ не гадокъ, тотъ самъ повенному втѣнется.

— Я не называю нетерпимость недостаткомъ (говоритъ на это Вышневецкая), только знаю по опыту, какъ она неудобна въ жизни... (168).

Жадовъ полюбилъ молодую дѣвушку Полину, любитъ ея, и, вѣря въ людей, вѣря въ жизнь, вѣря въ свои благородные принципы, смѣло готовъ соединить свою судьбу съ судьбою бѣдной дѣвушки.

Чѣмъ-же вы жить-то будете? (спрашиваетъ его Вышневецкая).

— А голова-то, а руки-то на что? (отвѣчаетъ онъ). Неужели мнѣ весь вѣкъ жить на чужой счетъ?.. А кто-же будетъ работать-то? Зачѣмъ-же насъ учили-то? Дядя совѣтуетъ прежде нажить денегъ какими-бы то ни было образомъ, купить домъ, завести лошадей, а потомъ ужъ завести и жену. Могу-ли я согласиться съ нимъ? Я полюбилъ дѣвушку, какъ любить только въ мои лѣта. Неужели я долженъ отказаться отъ счастья оттого только, что она не имѣетъ состоянія?

Дядя всегда (продолжаетъ онъ) поучалъ меня: „поди-ка, поживи, не то заговоришь. Ну, вотъ я и хочу пожить, да еще не одинъ, а съ молодой женой“.

— Да (замѣчаетъ на это Вышневецкая), позавидуешь женщинамъ, которыхъ любятъ такіе люди, какъ вы (167).

Какою-то отвагой, молодой благородной удалью вѣетъ отъ мыслей и рѣчей, отъ розовыхъ мечтаній и смѣлыхъ и чистыхъ надеждъ и вѣрованій Жадова:

Да, разговаривайте! (говорить онъ, оставшись одинъ послѣ спора съ Вышневымъ и Юсовымъ). Не вѣрю я вамъ. Не вѣрю и тому, чтобы честнымъ трудомъ не могъ образованный человѣкъ обезпечить себя съ семействомъ. Не хочу вѣрить и тому, что общество такъ развратно! Это обыкновенная манера стариковъ разочаровывать молодыхъ людей: представлять имъ все въ черномъ свѣтѣ. Людямъ стараго вѣка завидно, что мы такъ весело и съ такою надеждой смотримъ на жизнь. А, дядюшка! я васъ понимаю. Вы теперь всего достигли—и знатности, и денегъ, вамъ некому завидовать. Вы завидуете только намъ, людямъ съ чистою совѣстью, съ душевнымъ спокойствіемъ. Этого вы не купите ни за какіе деньги. Рассказывайте что хотите, а я, все-таки, женюсь и буду жить счастливо. (176—177).

Такимъ симпатичнымъ, добрымъ и вѣрящимъ является намъ Жадовъ въ началѣ комедіи.

Свои благородныя убѣжденія и воззрѣнія на жизнь онъ старается привить и невѣстѣ своей—*Полинѣ*.— Но вотъ здѣсь и начинаютъ выступать передъ нами слабыя его стороны. Прежде всего онъ оказывается непрактичнымъ, не въ томъ смыслѣ, что смѣло возстаетъ противъ порока, а въ томъ, что не понимаетъ жизни и людей, свои мечты готовъ принимать за дѣйствительность.—Онъ не догадывается, что Полина, будучи очень недалеко, не понимаетъ его.

Ну ужъ, Юлинька (говорить она сама сестрѣ), вотъ хоть сейчасъ голову на отсѣченіе, ничего не понимаю, что онъ говоритъ. Сожмешь рукъ такъ крѣпко и начнетъ говорить, и начнетъ... чему-то меня учить хочетъ.

— Чему-же?

Ужъ право, Юлинька, не знаю. Что-то очень мудрено. Погоди, можетъ быть, вспомню, только какъ-бы не засмѣяться, слова такія смѣшныя! Постой, постой, вспомнила! „Какое назначеніе женщины въ обществѣ?“ Про какія-то еще гражданскія добродѣтели говорить. Я ужъ и не знаю, что такое. (180).

Далѣе въ комедіи передъ нами сцена бесѣды Жадова

съ Полиной. Простодушная и дѣйствительно, хоть и не глубоко, любящая дѣвушка, Полина откровенно говорить, что у нихъ въ домѣ все обманъ и лицемеріе, а про себя заявляетъ, что она просто „дурочка“,—

такъ, какъ бываютъ дурочки. Ничего не знаю, ничего не читала. . . что вы иногда говорите, ничего не понимаю, рѣшительно ничего...

Жадовъ въ восторгѣ отъ ея искренности. „Вы ангелъ!“ восклицаетъ онъ. И онъ отчасти правъ: въ простодушныхъ словахъ Полины въ самомъ дѣлѣ слышится душевная правда. Но, отвлеченный мечтатель, онъ не вникъ въ настоящій смыслъ послѣднихъ словъ своей невѣсты: онъ думаетъ, что она преувеличиваетъ дѣло и называетъ глупостью нетронутость, свѣжесть своей души.

За то-то я васъ и люблю (говорить онъ), что васъ не успѣли ничему выучить, не успѣли испортить вашего сердца. Васъ надобно поскорѣй взять отсюда. Мы съ вами начнемъ новую жизнь. Я съ любовью займусь вашимъ воспитаніемъ. Какое наслажденіе ожидаетъ меня!

— Ахъ, поскорѣй-бы! (195).

отвѣчаетъ она, не понимая опять его словъ, и затѣмъ преспокойно переходитъ къ вопросамъ—есть-ли у него такіе знакомые купцы, которые дарили бы ему жилетки, какъ Бѣлогубову?—Жадовъ и тутъ, и при этихъ словахъ остается слѣпъ насчетъ истиннаго состоянія души Полины; отвѣтивъ ей: „ну, нѣтъ, намъ дарить не будутъ; мы съ вами будемъ сами трудиться“, онъ затѣмъ начинаетъ отвлеченно проповѣдовать ей:

Нѣтъ, Полина, вы еще не знаете высокаго блаженства жить своимъ трудомъ... Тутъ два наслажденія: наслажденіе трудомъ и наслажденіе свободно и съ спокойною совѣстью распоряжаться своимъ добромъ, не давая никому отчета. А это лучше всякихъ подарковъ. Не правда-ли, Полина, вѣдь лучше?

— Да-съ, лучше,

безсознательно даетъ она подсказанный имъ отвѣтъ. А онъ въ восторгѣ:

Вы говорите, что вы дурочка,—я дуракъ! (восклицаетъ онъ, растроганный и умиленный). Смѣйтесь надо мною! Да ужъ многіе и смѣются. Безъ средствъ, безъ состоянія, съ одними надеждами на будущее, я женюсь на васъ.—Зачѣмъ ты женишься? говорятъ мнѣ.—Зачѣмъ? Зачѣмъ, что люблю васъ, что вѣрю въ людей... (197).

Жадовъ понялъ, что Полина вовсе не такъ непосредственна, чиста и нетронута, какъ онъ воображалъ, Лишь тогда, когда, женившись на ней и проживъ съ ней больше года, увидѣлъ наконецъ, что слова его не производятъ на нее никакого дѣйствія, что не только она не понимаетъ ихъ умомъ, но—гораздо болѣе,—они не доходятъ до ея сердца, не тревожатъ ея совѣсти. И горько стало у него на душѣ.

Исторія моя коротка (разсказываетъ онъ старому товарищу Мыкину, встрѣтившись съ нимъ въ трактирѣ). Я женился по любви, какъ ты знаешь, взялъ дѣвушку неразвитую, *воспитанную съ общественныхъ предразсудковъ*, какъ и всѣ почти наши барышни, мечталъ ее воспитать въ нашихъ убѣжденіяхъ, и вотъ ужъ годъ женатъ...

— И что-же?

Разумѣется ничего. Воспитывать ее мнѣ некогда, да я и не умѣю приняться за это дѣло. Она такъ и осталась при своихъ понятіяхъ: въ ссорахъ, разумѣется, я ей долженъ уступать. Положеніе, какъ видишь, незавидное, а поправить нечѣмъ. Да она меня и не слушаетъ, она меня просто не считаетъ за умнаго человека. По ихъ понятію, умный человекъ долженъ быть непременно богатъ. (201).

„Да я и не умѣю приняться за это дѣло“, говоритъ Жадовъ: онъ понялъ теперь (какъ мы видимъ изъ этихъ словъ) не только Полину, но и себя,—понялъ свою непрактичность и отвлеченность:

Какой я человек! Я ребенок (говорить онъ съ сердечной болью своему новому пріятелю Досуеву), я объ жизни не имѣю никакого понятія.

Онъ началъ смутно догадываться, какъ мы видимъ изъ дальнѣйшихъ словъ его, и о присутствіи въ себѣ, въ своемъ характерѣ еще другаго недостатка—слабости воли.

Мнѣ тяжело! (говорить онъ тому-же Досуеву). Не знаю—вынесу-ли я! Кругомъ развратъ, силъ мало. Зачѣмъ же насъ учили! (213)

Полина, проживши годъ съ Жадовымъ, не понимаетъ его, не цѣнитъ его честной души, его возвышенныхъ убѣжденій. Въ ней есть кое-что симпатичное и привлекательное: она—добродушна, безхитростна, проста.

Но она, однако, истинная дочь своей семьи.

„Такого глубокаго разврата, какъ въ вашемъ семействѣ, я не видывала“,

говорить Жадовъ своей тещѣ *Кукушкиной*. — И въ самомъ дѣлѣ, Кукушкина ничему доброму не научила ни Юлиньку, ни Полину.

„Средства мои самыя ничтожны (говорить она зятю, попрекая его), а все-таки онѣ жили какъ герцогини, въ самомъ невинномъ состояніи; гдѣ ходъ въ кухню, не знали; не знали, изъ чего щи варятся; только и занимались, какъ слѣдуетъ барышнямъ, разговоромъ объ чувствахъ и предметахъ самыхъ облагороженныхъ.

Она говоритъ, что по грошамъ набирала съ мужемъ денегъ для воспитанія дочерей въ пансіонѣ.

Для чего это, какъ вы думаете? Для того, чтобы онѣ имѣли хорошія манеры, не видали кругомъ себя бѣдности, не видали низкихъ предметовъ, чтобы не отяготить дѣтя и съ дѣтства пріучить ихъ къ хорошей жизни, благородству въ словахъ и поступкахъ.

Поставивши себѣ цѣлью — сбыть дочерей поскорѣе съ-рукъ, Кукушкина учила ихъ лицемѣрію (мы видѣли

уже свидѣтельство Полины, что все въ ихъ домѣ было ложью), учила грубо и нагло кокетничать, строить глазки, писать даже любовныя письма.

Юлинька, существо холодное и эгоистическое, вполне усвоила курсъ этой школы, и спокойно по расчету вышла за Бѣлогубова; онъ ей казался „гнусненькъ“ и былъ противенъ; но она знала, что у него есть знакомые богатые купцы, которые будутъ дарить ему все, что нужно и что она пожелаетъ, и она преодолѣла себя; а затѣмъ стала даже очень довольна своей участью.

Описимъ Панфильтъ для дома отличный человекъ, настоящій хозяинъ; чего-чего у насъ нѣтъ, когда-бы ты посмотрѣла (217).

говорить она сестрѣ.

Да, я могу про себя сказать, что я счастлива..... Ты не можешь представить, какъ деньги и хорошая жизнь облагораживаютъ человека. Въ хозяйствѣ я теперь ничѣмъ не занимаюсь, считаю нязкимъ. Я теперь все пренебрегаю, кромѣ туалета.

Полина нравственно выше Юлиньки; и хоть ее и не возмущали (какъ воображалъ Жадовъ, идеализируя ее) домашняя ложь и пошлость, но она и не усвоила ихъ вполне, не предалась имъ всею душою. — Твердыхъ нравственныхъ устоевъ въ ней, однако, нѣтъ; нѣтъ ни-сколько жажды истины, правды, добра. Она любитъ Жадова; но скорѣй поддается вліянію сестры и матери, чѣмъ его.

Какъ ты живешь! Ужасно! (стыдить ее и жалѣть Юлинька). Нынѣ совсѣмъ не такой тонъ. Нынѣ у всѣхъ принято жить въ роскоши.

Юлинька настраиваетъ сестру противъ мужа, говорить про него:

Представляетъ изъ себя умнаго человека, а нынѣшняго тону не знаетъ. Онъ долженъ знать, что человекъ созданъ для общества.

Она учить Полину: „ты-бы съ нимъ ссориться попробовала“. „Лаской изъ мужчинъ ничего не сдѣлаешь. Ты къ нему ластись—вотъ онъ и сидитъ сложа руки, ни объ себѣ, ни объ тебѣ не думаетъ“. Она совѣтуетъ Полинѣ пригрозить ему переѣздомъ къ матери, если онъ не переѣднится, если не пойдетъ просить у дяди доходнаго мѣста.

Еще безнравственнѣе и хуже совѣты даетъ Полинѣ мать:

Бываютъ же такіе мерзавцы на свѣтѣ! (говоритъ она дочери про Жадова)... Ты-то что-жъ молчишь, сударыня? Не я-ли тебѣ твердила: не давай мужу потачки, точи его поминутно, и день, и ночь: давай денегъ да давай, гдѣ хочешь возьми да подай. Мнѣ, молю, на то нужно, на другое нужно. Маменька, молю, у меня тонкая дама, надо ее прилично принять. Скажетъ: нѣтъ у меня. А мнѣ, молю, какое дѣло? Хоть укради да подай. Зачѣмъ брать? Умѣлъ жениться, умѣй и жену содержать прилично. Да этакъ съ утра да до ночи долбля-бы ему въ голову-то, такъ авось-бы въ чувство пришелъ. У меня бы на твоёмъ мѣстѣ другаго и разговору не было.

Кукушкина стыдитъ свою дочку за то, что та любить мужа:

У тебя все нѣжности на умѣ, все бы вѣшалась къ нему на шею... А нѣтъ, чтобы объ жизни подумать. Безстыдница! И въ кого это ты такая уродилась! У насъ въ роду всѣ рѣшительно холодны къ мужьямъ: больше все думаютъ объ нарядахъ, какъ одѣться приличнѣе блеснуть передъ другими. (220).

„А вотъ погоди, мы на него насядемъ обѣ, такъ авось подастся“,—предлагаетъ она дочери союзъ, и затѣмъ напускается съ упреками на пришедшаго домой зятя:

Да развѣ я ее для такой жизни готовила? Я-бы лучше руку дала на отсѣченіе, чѣмъ видѣть въ такомъ положеніи дочь: въ бѣдности, въ страданіи, въ убожествѣ.

Видала я примѣры-то

(говорить она, низко и безсовѣстно развращая Полину),

какъ женщины гибнуть отъ бѣдности. Бѣдность-то до всего доводить. Другая бьется, бьется, ну и собьется съ пути. Даже и винить нельзя (225, 227).

„Что? Какъ вы можете говорить при дочери такія вещи!“ въ негодованіи восклицаетъ Жадовъ, и проситъ Кукушкину оставить ихъ домъ.—Онъ начинаетъ затѣмъ серьезно (или, какъ онъ выражается „построже“) говорить съ Полиной; высказываетъ требованіе, чтобы она прекратила сношенія со своими родными...

Но онъ встрѣчаетъ неожиданно для себя (хотя въ сущности и могъ-бы этого ожидать) отпоръ въ Полину: повторяя чужія слова, она заявляетъ ему, что хочетъ жить, „какъ всѣ благородныя дамы живутъ“, что „человѣкъ созданъ для общества“, что ей нѣтъ дѣла до того—на какія средства жить: „кто любитъ, тотъ найдетъ средства“ и т. д. и т. д. и заканчиваетъ требованіемъ, чтобы онъ шелъ къ дядѣ просить доходнаго мѣста,—въ противномъ случаѣ она его оставить и уйдетъ жить къ матери.

Жадовъ сначала какъ будто твердо противостоитъ нападеніямъ. Но когда Полина уходитъ, и ему кажется, что она дѣйствительно исполнить свою угрозу — покинетъ его, онъ изнемогаетъ и падаетъ духомъ.

Что-же мнѣ теперь дѣлать? (говоритъ онъ). Господи, Боже мой! Я съ ума сойду. Безъ нея мнѣ незачѣмъ на свѣтѣ жить Опять скрота! Чего-жъ лучше! Поутру пойду въ присутствіе; послѣ присутствія домой незачѣмъ ходить—посижу въ трактирѣ до вечера; а вечеромъ домой, одинъ, на холодную постель залябюсь слезами И такъ каждый день! Очень хорошо! (Плачетъ). Ну, что-жъ! не умѣлъ съ женой жить, такъ живи одинъ. Нѣтъ, надо рѣшиться на что-нибудь. Я долженъ или разстаться съ ней, или... жить... жить... какъ люди живутъ. Объ этомъ надо подумать. (Задумывается). Разстаться? Да въ силахъ-ли я съ ней разстаться? Ахъ. какая мука!

Нѣтъ, ужь лучше... что съ мельницами-то сражаться! Что я говорю! Какія мысли лѣзутъ мнѣ въ голову! (233).

Въ эту минуту возвращается Полина, за которой онъ послалъ служанку, и самъ-не-свой отъ радости, Жадовъ, въ-попыхахъ, въ тревогъ, торопясь и волнуясь, пытается еще разъ объяснить женѣ свои возвышенныя идеи и стремленія, правила долга и чести.—И вотъ здѣсь обнаруживается во всей силѣ одна изъ слабыхъ чертъ нравственнаго образа Жадова—его отвлеченность его далекость отъ жизни. Такъ отвлеченна, даже болѣе—разсудочна и холодна его проповѣдь Полинѣ, что она не могла, конечно, подѣйствовать и не подѣйствовала на недалекую женщину.

Ты сумасшедшій, право сумасшедшій! (искренно воскликнула Полина). И ты хочешь, чтобъ я тебя слушала; у меня и такъ ума-то немного, и послѣдній съ тобой потеряешь.... Нѣтъ, ужь я лучше буду слушать умныхъ людей.

Неуспѣхъ попытки пробудить умъ и совѣсть жены сразилъ Жадова; а ея отвѣтъ на вопросъ: кто-же эти умные люди?—„Кто? Сестрица, Бѣлогубовъ“, этотъ отвѣтъ окончательно его подрѣзалъ.—„И ты сравнила меня съ Бѣлогубовымъ“, горестно говорить онъ, и затѣмъ, когда Полина выразила намѣреніе вторично уйти изъ дому, онъ окончательно падаетъ духомъ—и уступаетъ ея безнравственнымъ требованіямъ:

Вѣдь молодую, хорошенькую жену надо любить (говорить онъ), надо ее лѣгать... да, да, да! надо ее наряжать... Ну, что-жь, ничего... ничего... Это легко сдѣлать! (Съ отчаяніемъ). Прощайте юношескія мечты мои! Прощайте, великіе уроки! Прощай, моя честная будущность!

Слабый, безхарактерный человѣкъ не выдержалъ, подался. Слабость воли есть самая печальная, и въ то-

же время одна изъ самыхъ характерныхъ чертъ образа Жадова. И этой чертою онъ противоположенъ Грибоѣдовскому Чапкому, съ которымъ у него такъ много общаго и въ благородствѣ убѣжденій, и въ смѣлости ихъ высказыванія, въ такъ-называемой „нетерпимости“. Справедливость требуетъ, однако, сказать, что Жадовъ уступилъ злу съ душевной тоскою, съ отчаяніемъ въ сердцѣ.

Буду сторониться, прятаться отъ своихъ прежнихъ товарищей (говорить онъ женѣ)... не буду ходить туда, гдѣ говорятъ про честность, про святость долга... цѣлую недѣлю работать, а въ пятницу на субботу собирать разныхъ Бѣлогубовыхъ и пьянствовать на наворованные деньги, какъ разбойники... да, да... А тамъ и привыкнемъ.

И, заглушая внутреннія муки, онъ поетъ старинные стихи:

Бери, большой тутъ нѣтъ науки,
Бери, что можно только взять!
На чтѣ-жъ привѣшены намъ руки,
Какъ не на то, чтобъ брать, брать, брать...

Стихи эти—изъ комедіи конца 18-го вѣка „Ябеда“, Капниста. Ихъ сочинилъ взяточникъ съ поэтическими наклонностями прокуроръ Хватайко. Комедія „Ябеда“, подобно „Доходному мѣсту“, изображала въ сатирическомъ свѣтѣ бюрократическій міръ съ его казнокрадствомъ и взяточничествомъ. Введеніемъ въ свою пьесу приведенныхъ стиховъ Островскій самъ указалъ на историческую связь своей общественной комедіи съ литературой 18-го столѣтія.

Въ 5-мъ актѣ Жадовъ исполняетъ то, на что уже рѣшился: является къ Вышневному и проситъ доходнаго мѣста.—Но неожиданныя обстоятельства, неожиданный житейскій урокъ отрезвляютъ его и спасаютъ. Не столько фактъ паденія Вышневекаго, сколько на-

смѣшка взяточника надъ слабостью честнаго человѣка, и особенно признаніе взяточника, что онъ боялся честныхъ людей, а теперь перестаетъ бояться,—возвращаютъ Жадова снова на дорогу чести и добра. Онъ смиренно сознаетъ свою слабость: „я не герой, я обыкновенный, слабый человѣкъ; у меня мало воли, какъ почти у всѣхъ насъ“. Но, прибавляетъ онъ, „моей слабости вамъ нечего радоваться“, потому что она не свидѣтельствуетъ о нравственномъ паденіи жизни, потому что, не смотря на нее:

въ наше время.... общество мало-по-малу бросаетъ прежнее равнодушіе къ пороку, слышатся энергическіе возгласы противъ общественного зла... Я говорилъ, что у насъ пробуждается сознание своихъ недостатковъ; а въ сознаніи есть надежда на лучшее будущее. Я говорилъ, что начинается создаваться общественное мнѣніе... что въ юношахъ воспитывается чувство справедливости, чувство долга, и оно растетъ, растетъ и принесетъ плоды. Не увидите вы, такъ мы увидимъ и возблагодаримъ Бога.

Одушевленный своими мыслями, своею вѣрою въ пробужденіе въ обществѣ нравственнаго сознанія, Жадовъ крѣпнетъ духомъ, надѣясь на поддержку общественного мнѣнія.

Ужъ теперь я не измѣню себѣ (говорить онъ). Если судьба! приведетъ ѣсть одинъ черный хлѣбъ—буду ѣсть одинъ черный хлѣбъ. Никакія блага не соблазнятъ меня, нѣтъ!.... Если вся жизнь моя будетъ состоять изъ трудовъ и лишеній, я не буду роптать... Одного утѣшенія буду просить я у Бога, одной награды буду ждать, чего, думаете вы?... Я буду ждать того времени, когда взяточникъ будетъ бояться суда общественного больше, чѣмъ уголовного. (251).

Эти энергическія слова сдѣлали два дѣла: смутили и поразили наглую самоувѣренность Вышневекаго, и пробудили чувство и совѣсть въ Полинѣ. Вернувшись

къ своимъ чистымъ идеаламъ, Жадовъ не удерживаетъ болѣе жену:

Полина, теперь ты можешь идти къ маменькѣ, я тебя держать не стану (говорить онъ);

но Полина сама остается,—для нея настала возможность возрожденія.

Личность Жадова, центральная въ комедіи „Доходное мѣсто“, поясняетъ намъ собою и своими отношеніями къ другимъ личностямъ смыслъ пьесы.

Изобразивъ Жадова человѣкомъ безхарактернымъ, Островскій выказалъ этимъ свое скептическое отношеніе къ образованному обществу, признавъ его нравственно-колеблющимся и шаткимъ. Но это совсѣмъ не то, однако, что мы видѣли въ „Бѣдной невѣстѣ“, гдѣ представителями образованнаго міра явились люди вполнѣ несостоятельные. Жадовъ лишенъ энергіи, слабъ; но онъ не только хорошій человѣкъ, а еще и человѣкъ способный дѣлать дѣло и нравственно подняться и подняться высоко, когда встрѣтитъ поддержку въ обществѣ; а такую поддержку онъ, дѣйствительно, и находитъ въ комедіи.—Кромѣ того въ „Доходномъ мѣстѣ“ проходитъ передъ нами, по выраженію Аполлона Григорьева, тѣнь Чацкаго (критикъ разумѣетъ Любимова). Все это указываетъ намъ, что отношенія поэта къ образованному обществу теперь не отрицательныя, что онъ видитъ возможность торжества правды въ этомъ обществѣ.

ГЛАВА X.

„Въ чужомъ пиру похмѣлье“.—„Тяжелые дни“.

Около того же времени, когда рисоваль типическую фигуру представителя интеллигенціи, Островскій создалъ и одинъ изъ наиболѣе яркихъ типовъ купеческаго міра—знаменитаго *Тита Титыча Брускова*.

Безхарактерность—слабая сторона человѣка интеллигенціи Жадова. Невѣжественное самодурство—отличительный дурной признакъ представителя земщины Брускова. Но какъ много прекраснаго въ слабавольномъ Жадовѣ, такъ много симпатичнаго и въ милѣйшемъ самодурѣ Титѣ Титычѣ.

Титъ Титычъ Брусковъ является героемъ двухъ пьесъ: комедіи „*Въ чужомъ пиру похмѣлье*“ и сценъ „*Тяжелые дни*“.

По поводу Тита Титыча, устами одного изъ дѣйствующихъ лицъ первой пьесы, Островскій даетъ опредѣленіе самодурства.—Квартирная хозяйка Ивановыхъ Аграфена Платоновна такъ говоритъ про Брускова: „дикий, властный человѣкъ, крутой сердцемъ“.—„Что такое: крутой сердцемъ?“ спрашиваетъ Иванъ Ксенофонтычъ.—„Самодуръ“, отвѣчаетъ она, и затѣмъ поясняетъ:

Самодуръ—это называется, коли человекъ никого не слушаетъ, ты ему хоть колъ на головѣ теши, а онъ все свое. Топнетъ ногой, скажетъ: кто я? Тутъ ужъ всѣ домашніе ему въ ноги должны, такъ и лежать, а то бѣда... (II, 120).

Самодурство тѣсно связывается съ невѣжествомъ и темнотою. Та-же Аграфена Платоновна говорить про Брускова:

„Хоть онъ и плутовать, а человекъ темный. Онъ только въ своемъ домѣ свирѣпъ, а то съ нимъ что хочешь дѣлай, дуракъ дуракомъ; на пустомъ спугнуть можно“ (120).

Титъ Титычъ самовольничаетъ надъ домашними, какъ ему взбредетъ въ голову. Умный сынъ его Андрюша скрывается, потому что онъ хочетъ женить его „на-сильственнымъ образомъ“, и для этого возить по невѣстамъ на-смотрины.

Жена, хоть въ-сущности и не боится его, потому что онъ больше грозенъ на словахъ, чѣмъ на дѣлѣ, не смѣетъ, однако, пикнуть передъ нимъ.

Настасья! смѣетъ меня кто обидѣть? (кричить онъ).

— Никто, батюшка, Китъ Китычъ, не смѣетъ васъ обидѣть.

Вы сами всякаго обидите (отвѣчаетъ она).

Я обижу, я и помилю, а то деньгами заплачу. Я за это много денегъ заплатилъ на своемъ вѣку.

Возможность платить деньгами за безобразіе очень нравится Титу Титычу. Явившись къ учителю Иванову искать скрывающагося „Андрюшку“, онъ грозитъ, что сдѣлаетъ обыскъ, позоветъ квартальнаго.

Такъ тебѣ и позволять въ благородномъ домѣ безобразничать!.. (возражаетъ Аграфена Платоновна). Да ну, коли на то пошло, дѣлай обыскъ. А не найдешь, чѣмъ отвѣтишь?

— Не ваша печаль, это наше дѣло (продолжаетъ онъ свое).

За безобразіе заплатимъ (131).

Возможность „заплатить“ пріучила Тита Титыча давать волю рукамъ.

Ты меня выведешь изъ терпимости (говорить онъ Аграфенъ Платоновъ), въ тѣ поры я въ себѣ не властенъ: я тебя прибую.

Привыкши по своимъ безобразіямъ и другимъ дѣламъ обращаться къ чиновному судейскому міру, зная по опыту подкупность чиновниковъ, Титъ Титычъ увѣренъ, что деньгами можно все сдѣлать; притомъ на законъ и законниковъ онъ смотритъ какъ-то наивно-суетѣрно, какъ на нѣчто всемогущее.

Можешь ты такое прошеніе написать (говорить онъ своему ходатаю по дѣламъ Захару Захарычу), чтобы въ Сибирь сослать по этому прошенію?

— Кого, Титъ Титычъ?

Трехъ человекъ. Тебѣ все равно, что одного, что трехъ?

— Все равно, Титъ Титычъ.

Надо въ сослать учителя Иванова, дочь его и хозяйку ихъ. Я такъ хочу. (149).

Самъ невѣжественный (хотя далеко не глупый), Брусковъ окруженъ фантастически-невѣжественной средой. Удивительно характеренъ въ этомъ смыслѣ разговоръ Настасьи Панкратьевны, жены Брускова, съ гостей Ненилой Сидоровной.

На что ему много-то знать? (разсуждаетъ Настасья Панкратьевна про сына Андрюшу). И такъ боекъ, а какъ обучать-то всему, тогда съ нимъ и не сговоришь; онъ мать-то и уважать не станетъ; хоть изъ дому бѣги.

— Да, вотъ на-счетъ ученья-то (вторить ей Ненила Сидоровна).

У насъ сосѣдка отдала сына учиться, а онъ глазъ и выкололъ.

О другомъ своемъ сынѣ, сумашедшемъ „Купидонѣ“, Настасья Панкратьевна рассказываетъ, что онъ „ума рехнулся“ по театру.

— Говорятъ (замѣчаетъ на это Ненила Сидоровна), маленькихъ нехорошо по головѣ бить, глупѣютъ отъ этого.

Кто ихъ знаетъ, можетъ и правда (соглашается съ словами молвы Настасья Панкратьевна).

И затѣмъ обѣ старухи, призвавши Купидошу, просятъ его потѣшить ихъ—представить что-нибудь изъ театрального.

Въ такомъ-же духѣ характеренъ въ „Тяжелыхъ дняхъ“ разговоръ Настасьи Панкратьевны съ стряпчимъ Мудровымъ о книгахъ и о страшныхъ словахъ.— Мудровъ говоритъ, что книги есть всякія, и что не твердымъ умамъ свѣтскихъ книгъ читать нельзя.

„Я могу, я читаю, я всякую книгу читаю. Я читаю, а самъ не вѣрю тому, что написано; какіе бы мнѣ документы ни приводили, я не вѣрю; хоть будь тамъ написано, что дважды два четыре, я не вѣрю, потому что я твердъ умомъ“ (III, 305).

говоритъ Мудровъ.—А затѣмъ онъ пугаетъ Настасью Панкратьевну страшными словами.

„Да, есть слова, есть-сь. Въ нихъ, сударыня, таинственный смыслъ сокрытъ, и сокрытъ такъ глубоко, что слабому уму-сь...

— Вотъ этихъ-то словъ я, должно быть, и боюсь (говоритъ Настасья Панкратьевна). Богъ его знаетъ, что оно значить, а слушать-то страшно.

„Вотъ, напримѣръ (продолжаетъ Мудровъ), металлъ. Что-сь? Каково слово! Сколько въ немъ смысловъ! Говорятъ: презрѣнный металлъ! Это одно значить; потомъ говорятъ: металлъ звенящій. Глаголь времянь, металла звонъ“....

— Ну, будетъ, батюшка, будетъ. Не тревожьте вы меня! Разуму у меня немного, сообразить вашихъ словъ я не могу; мнѣ цѣлый день и будетъ представляться“. (306).

Самъ невѣжда, Титъ Титычъ не хотѣлъ учить Андрея, не смотря на то, что тотъ стремился къ просвѣщенію.

Я вотъ помоложе былъ, учиться захотѣлъ, такъ и то не велѣли (говоритъ Андрей Титычъ Лизаветѣ Ивановнѣ).... Диви-бы негдѣ было учиться, али-бы денегъ не было; а то денегъ уголь непочатый лежитъ, дѣвать куда—не сообразимъ. Одинъ капризъ, одна только амбиція, что вотъ я неучень, а ты умнѣ меня хочешь быть. (II, 126).

Запрещаетъ Титъ Титычъ Андрюшѣ учиться на скрипкѣ, ходить въ театръ. „Съ твоимъ-ли рыломъ“, говорить, „такія нѣжности разводить“.

У насъ все равно, что загулялъ, что въ театрѣ просидѣлъ это на одномъ счету (поясняетъ Андрей Титычъ).

Таковы темныя черты въ характерѣ Брускова.—Но этотъ самодуръ и невѣжда оказывается человѣкомъ незлобивымъ и добродушнымъ.—Когда Аграфена Платоновна взяла съ него тысячу рублей за Андрюшину росписку, онъ досадуетъ, сердится, бранится; но въ сущности онъ не злобствуетъ на то, что его обманули (какъ онъ думаетъ).

Деньги-то взять умѣли! Вы меня хоть попотчуйте чѣмъ за мои деньги-то (говоритъ онъ).

А когда вернувшійся домой старикъ Ивановъ гонитъ его вонъ, онъ отвѣчаетъ дружескимъ приглашеніемъ:

Поѣдемъ ко мнѣ! Выпьемъ вмѣстѣ, пріятели будемъ. Чтѣ ссориться-то! (136).

И если этого-же Иванова Титъ Титычъ, вернувшись домой, хочетъ въ Сибирь сослать; то это потому, что тотъ не пожелалъ быть пріятелемъ, а началъ ссориться.

Брусковъ мало того, что добродушенъ, онъ способенъ порой подниматься и гораздо выше въ нравственномъ смыслѣ: онъ благоговѣнно преклоняется душою передъ безкорыстіемъ и чувствомъ чести, которыя проявилъ передъ нимъ учитель Ивановъ. Самодуръ, не привыкшій встрѣчать себѣ препятствій, онъ смиренно сноситъ проклятія, этого Иванова, проклятія, которыхъ вовсе не заслужилъ, потому что ни въ чемъ не виноватъ: его-же обманули, да его-же и проклинали (ибо Ивановъ, по отвлеченности своей не разобралъ дѣла). Но онъ сноситъ и несправедливое оскорбленіе, когда видитъ въ оскор-

бителѣ высокую душу и честныя нравственныя побужденія. — Для виду, для поддержанія своего самодурнаго достоинства, кричить Титѣ-Титычѣ:

Держи его! Вотъ видишь ты, съ какой сволочью связываешься! (155).

Но вслѣдъ затѣмъ онѣ задумывается возвышенною думой:

Деньги и все это — тлѣнь, металлъ звенящій! (говорить онѣ).
Помремъ — все останется,

и рѣшаетъ отправить сына къ Ивановымъ свататься за дочку.

Поѣзжай къ учитель, проси, чтобы дочь отдалъ за тебя. Онѣ человекъ хорошій.

— Помилуйте, тятенька (пугается Андрей Титычѣ), онѣ и прежде-то-бы не отдалъ, а теперь мнѣ и глаза показать нельзя.

Я тебѣ приказываю, слышишь! Проси, кланяйся въ ноги. Онѣ и постарше тебя да кланялся. (156).

Таковъ-же, какъ въ разсмотрѣнной пьесѣ, Титѣ Титычѣ и въ чудесныхъ, поэтическихъ сценахъ *„Тяжелые дни“*.

Онѣ представляется здѣсь совсѣмъ опалѣвшимся отъ самодурства осwirѣпѣвшимъ.

И прежде тятенька были люди (разсказываетъ Андрей Титычѣ), а теперь ужъ описать нельзя. До того дошли, что никакихъ себѣ границъ не знаютъ.

— Воуетъ, чтѣ-ли, очень? (спрашиваетъ Досужевъ).

Тепереча въ газетахъ про черкесовъ пишутъ, что они злые хищники и бунтовщики; такъ повѣрьте душѣ моей, что ни одному черкесу того не сдѣлать, что тятенька могутъ. (III, 292).

Особенно достается въ этихъ обстоятельствахъ Андрею Титычу.

Помыкають мною такъ, хуже чего быть не можетъ (разсказываетъ бѣдный юноша). Повезутъ меня невѣсту смотрѣть, куда

имъ вздумается, и сейчасъ тамъ изъ-за приданого или изъ чего другого ссору заведутъ, крикъ подымутъ, такъ домой и уйдутъ. Потомъ въ другомъ мѣстѣ то-же самое. Вотъ теперь въ Таганкѣ: повѣрите-ли, съ матерью невесты два раза нехорошими словами ругались; поругаются, недѣли двѣ не ѣздить, потомъ опять помирятся. А ужъ я, не то, чтобъ сказать что, а и дышать-то не смѣю. (292—293).

Но, однако, судьба такъ помыкаемаго и самодурно-притѣсняемаго Андрея Титыча устраивается въ „Тяжелыхъ дняхъ“ самымъ благополучнымъ образомъ, къ счастью его и любимой имъ дѣвушки. И это благодаря высокому свойству дикаго Титъ Титыча—свойству преклоняться передъ человѣческимъ благородствомъ: полюбивъ Досужева, Титъ Титычъ женить сына на Кругловой, потому что Досужевъ этого хочетъ.

Выигравши въ судѣ дѣло, Брусковъ повезъ чиновниковъ угощать въ Марьину рощу. Тамъ все шло благополучно; но подвернулся промышляющій своей физиономіей сочинитель фальшивыхъ документовъ Перцовъ—и Титъ Титычъ побилъ его.

Такихъ дѣловъ надѣлали, что страшно сказать (повѣствуетъ Андрей Титычъ матери)... барина прибили-сь.

Другой эксплуататоръ купечества, вышедшій тоже, какъ и Перцовъ, изъ среды мелкаго чиновничества, Мудровъ, ведущій дѣла Титъ Титыча, очень радъ этому случаю, потому что, говорить онъ,

это дѣло хорошее.

— Что-жъ тутъ хорошаго? (спрашиваетъ Настасья Панкратьевна).

Для меня, сударыня, хорошее, собственно для меня (поясняетъ онъ). Давно я такого дѣла дожидаясь.

Является домой самъ герой событія, и начинается юридическое собесѣдованіе. Вѣря во всемогущество

законниковъ, Титъ Титычъ приказываетъ Мудрову писать „кляузы“.

Пиши, что будто я... въ изступленіи ума.

— Въ изступленіи ума? Ну, на цѣпь (замѣчаетъ Мудровъ).

Какъ такъ на цѣпь?

— Такъ, на цѣпь. Для предупрежденія, чтобъ ты кого до смерти не убилъ.

Нѣтъ, „того не надо. Ты пиши, что я... въ здоровомъ разсудкѣ.

— А въ здоровомъ разсудкѣ, такъ въ смирительный домъ.

Ну, такъ дѣлай, что знаешь: ты за это деньги берешь.

(317 — 318).

Мудровъ мудро совѣтуетъ Титу Титычу скрываться:

Твоя натура заставляетъ тебя скрываться (говоритъ онъ), законъ самосохраненія.

— Развѣ есть такой законъ?

Есть....

Но Мудровъ перехитрилъ—слишкомъ много, 5000 р., запросилъ за свои хлопоты,—и Титъ Титычъ прогналъ его. Исполняя, однако, совѣтъ прогнаннаго юриста, Титъ Титычъ засѣлъ скрываться въ тарантасъ.

Андрей Титычъ приводитъ къ отцу новаго дѣльца—Досужева. Досужевъ слыхалъ уже, что за человѣкъ его кліентъ и, не смотря на свою привычку къ такого рода людямъ, немножко побаивается:

Посмотримъ (разсуждаетъ онъ самъ съ собой), что это за звѣрь Титъ Титычъ! Ужъ я не радъ, что взялся за дѣло-то! Вѣдь, чортъ его знаетъ, поколотить, пожалуй. (330).

И дѣйствительно, вызванный изъ тарантаса, гдѣ сидѣлъ „точно сирота какая“ (по словамъ Настасьи Панкратьевны), Китъ Китычъ начинаетъ показывать свой нравъ новому знакомому:

Ну, садись, гость будешь! (говоритъ онъ).

— Я не люблю садиться, я лучше стоя (отвѣчаетъ Досужевъ).

Сказано, садись, такъ и садись. Что ты, какъ бѣсъ будешь передо мной вертѣться! Терпѣть не могу.

— Ну, будь по-твоему; сяду,

и Досужевъ хочетъ подвинуть стулъ...

Ты что тамъ еще? Не смѣй трогать стульевъ! Они на мѣстѣ поставлены. Садись вотъ здѣсь, подлѣ меня!

— Ты не очень командуй!

Да коли ты не порядокъ дѣлаешь, какъ-же тебѣ не сказать!

Затѣмъ начинается разговоръ о дѣлѣ, въ которомъ Титъ Титычъ заявляетъ, что не хочетъ мириться, а хочетъ быть оправленъ совсѣмъ, чтобы чистъ былъ. Досужевъ отвѣчаетъ, что это невозможно.

Буянить твое дѣло, а мириться такъ вотъ не хочешь!

— Да ты съ кѣмъ говоришь! (кричать Титъ Титычъ). Учить что-ли ты меня пришелъ у меня-то въ домѣ! Хочу буянить, и буяню; нешто ты мнѣ заказать смѣешь!..... Ты человѣкъ посторонній! Зачѣмъ ты ко мнѣ въ домъ зашелъ? Тебѣ что тутъ нужно? Ишь ты, влѣзъ въ гостинную, разсѣлся, тоже важничаетъ. Какъ ты смѣлъ придти меня беспокоить? Я вотъ сейчасъ велю тебя со двора согнать, чтобы ты и носу сюда показывать не смѣлъ. Я тебя и знать не хочу. (332).

Послѣ долгихъ пререканій (во время которыхъ, узнавъ, что Перцову придется заплатить только 100 рублей, Титъ Титычъ находитъ: „это ничего! это на чести, не дорого! это и въ другой разъ, коли случится....“), послѣ долгихъ пререканій дѣло оканчивается ко всеобщему удовольствію.—Титъ Титычъ плѣненъ, пораженъ и безкорыстіемъ Досужева, и (главное) его ходатайствомъ за Андрюшу. Онъ исполняетъ просьбу Досужева—соглашается на бракъ сына съ Кругловой, хотя, для поддержанія своего достоинства, и заявляетъ:

„ты не подумай, что это я тебя послушалъ! Это я самъ. А если-бъ не я самъ, никто-бъ меня на свѣтѣ... Слышишь ты, я самъ. Слышишь ты, что я тебѣ говою? (334—335).

Оканчивается онъ, однако, тѣмъ, что наивно и просто-душно сознается, что дѣло устроилъ Досужевъ; а Досужеву, тотчасъ послѣ его словъ: я для сына твоего хлопочу“, говорить:

Понимаю. Ты приходи ко мнѣ чаще, я тебя полюбилъ. (335).

Повидимому совершенно слабый и умственной темнотой своей, и тѣмъ, что зависить отъ нелѣпаго произвола своихъ самодурныхъ капризовъ, Тить Титычъ носить, однако, въ своей душѣ такіе (по указанію Островскаго) твердые нравственные устои, съ которыхъ его ничто не можетъ сдвинуть. И этой твердостью онъ совершенно противоположенъ Жадову.

Очень интересна въ „Тяжелыхъ дняхъ“ личность *Досужева*.—Впервые мы знакомимся съ Досужевымъ въ „Доходномъ мѣстѣ“.

Это человѣкъ образованный, умный, знающій жизнь, энергичный, но болѣзненно тронутый душою. Онъ близко знакомъ съ чиновничьимъ міромъ и энергически характеризуетъ его опредѣленіями: „стая вороновъ“, „ослы во львиной шкурѣ“. Жизнь, должно быть, трудно далась ему и надломила его: онъ пьетъ....

Признаться вамъ сказать, я никакъ не разберу, что вы за человѣкъ? (говорить ему Жадовъ).

— А вотъ, изволите-ли видѣть (опредѣляетъ онъ себя), во-1-хъ—я веселый человѣкъ, а во-2-хъ—замѣчательный юристъ. Вы учились, это я вижу, и я тоже учился! Поступилъ я на маленькое жалованье; взятокъ брать не могу—душа не переносить, а жить чѣмъ-нибудь надо. Вотъ я и взялся за умъ: принялся за адвокатство, сталъ купцамъ слезныя прошенія писать (212).

Встрѣтился онъ съ Жадовымъ въ трактирѣ, куда пришелъ повидаться по дѣлу съ купцомъ:

Я вотъ карася дожидаясь (заявилъ онъ Жадову).

— Какого караса?

Придетъ съ рыжей бородой, я его буду ѣсть.

Прощается Досужевъ съ Жадовымъ словами смиреннаго самоосужденія:

„Ты меня строго не суди! Я человекъ потерянный. Постарайся быть лучше меня, коли можешь“ (214).

Въ „Тяжелыхъ дняхъ“ личность его болѣе опредѣлилась; оказывается, что, чувствуя „злобу неукротимую“ къ своимъ кліентамъ (какъ онъ выражался въ „Доходномъ мѣстѣ“), онъ въ то-же время ихъ любитъ, онъ оберегаетъ ихъ отъ эксплуатаціи разныхъ проходимцевъ изъ бюрократическаго міра. Въ его лицѣ въ комедіяхъ Островскаго образованный человекъ подаль руку земщинѣ и заключилъ съ нею союзъ противъ тяготящихъ надъ нею взяточниковъ и казнокрадовъ. Затѣмъ мы видѣли уже въ Досужевѣ добраго человека, помогающаго хорошимъ людямъ. Остроумно подсмѣиваясь надъ невѣжествомъ среды, на пользу которой посвятилъ свой трудъ, Досужевъ въ то-же время любовно относится къ этой средѣ.

ГЛАВА XI.

Трилогія о Бальзаминовѣ.—Общія заключенія о первомъ періодѣ дѣятельности Островскаго.

Параллельно съ типами Жадова и Брускова художественная фантазія Островскаго создала одинъ изъ самыхъ яркихъ типовъ русской литературы—*Бальзаминова*.—Молодой чиновникъ Бальзаминовъ—герой трехъ пьесъ: „*Праздничный сонъ—до обѣда*“, „*Свои собаки грызутся—чужая не приставай*“ и „*За чѣмъ пойдешь—то и найдешь*“.

Существо добродушное и глупое, Бальзаминовъ поставилъ цѣлью своей жизни—жениться на богатой и жить въ праздности и роскоши. Никакихъ нравственныхъ принциповъ у него нѣтъ. Онъ искренно убѣжденъ, что имѣеть право на богатство, во 1-хъ потому, что ему хочется быть богатымъ, во 2-хъ потому, что у него „много вкуса“.

Деньги всякому пріятно имѣть-ся (говоритъ онъ Неуѣденову)... Особенно если человѣкъ со вкусомъ-ся, просто долженъ страдать. Хочется жить прилично, а способовъ никакихъ нѣтъ-ся. Вотъ хоть-бы я..... А въ мечтахъ все представляется богатство, и даже во снѣ снится; притомъ-же вкусу много. (II, 289—290).

Я человѣкъ съ большимъ вкусомъ-ся, у меня вкусу-то гораздо больше, чѣмъ у Устрашимова (говоритъ Бальзаминовъ въ другой

пьесѣ купчихамъ Антрыгиной и Піоновой), а средствъ къ жизни нѣту-съ. Слѣдственно, я долженъ ихъ искать. Кабы мнѣ теперь средства-съ.... (Ш, 38).

Да и совсѣмъ не отъ зависти я хочу жениться на богатой (спорить Бальзаминовъ съ свахой Красавиной), а оттого, что у меня благородныя чувства. Развѣ можно съ облагороженными понятіями въ бѣдности жить? А коли я не могу (логически разсуждаетъ онъ) никакими средствами достать себѣ денегъ, значить я долженъ жениться на богатой.—Ахъ, маменька (обращается онъ къ матери), какая это обида, что все на свѣтѣ такъ нехорошо заведено! Богатый женится на богатой, бѣдный — на бѣдной. Есть-ли въ этомъ какая справедливость? Одно только притѣсненіе для бѣдныхъ людей. Если-бъ я былъ царь, я бы издалъ такой законъ, чтобъ богатый женился на бѣдной, а бѣдный — на богатой; а кто не послушается — тому смертная казнь. (Ш, 50).

Нажива, матерьяльная, денежная нажива, притомъ безъ труда,—вотъ безсознательный принципъ жизни Бальзаминова.

И та „пучина“ (по выраженію Досужева), пучина невѣжества и грубости, среди которой Бальзаминовъ ищетъ богатой дуры, которая-бы за него вышла, даетъ ему основаніе и полное право надѣяться на такую наживу.

Молоденькая Капочка, дочь глупой, лѣнивой и слабавольной купчихи Ничкиной, пламенно желаетъ выдти за Бальзаминова, потому что, какъ она выражается, „для ея чувствъ нѣтъ границъ“ и женщины „рождены со слабостями“; купцы ей не нравятся, потому что носятъ бороду; а Бальзаминовъ плѣнилъ ее въ одну минуту, при первой-же встрѣчѣ, потому что былъ „въ голубомъ галстукѣ“ и посмотрѣлъ на нее (какъ она воображаетъ) „съ такой душой въ глазахъ, даже уму непостижимо! а потомъ взялъ опустилъ глаза довольно гордо“.

Вдову Антрыгину онъ плѣнилъ тѣмъ, что написалъ ей „амурное письмо“.

Другой вѣдь напишетъ (разсказываетъ про этотъ случай сваха Красавина (просто стражъ; а это хоть барышнѣ дай, такъ ничего. Отъ этого письма она и приди въ чувство; ужъ очень ей поправилось, что учтиво пишетъ-то, что охальства-то никакого нѣтъ. А онъ еще въ концѣ-то стихъ прибавилъ: „Взвѣйся, вихорь, вѣтерочекъ, отнеси ты сей листочекъ—въ объятія тому, кто милъ сердцу моему“. А на пакетѣ-то надписалъ: „лети туда, гдѣ примутъ безъ труда“. Стихомъ-то ужъ онъ ее больше и убѣдилъ (III, 10).

„Убѣждаетъ“ онъ также, или пытается „убѣждать“ — завитыми кудрями, да словами, „умными“ и похожими на французскія; послѣднему учить его мать.

Умныхъ ты словъ не знаешь (говорить она ему, сокрушаясь о немъ, объ его простотѣ).

— Это, маменька, нужды нѣтъ (отвѣчаетъ онъ). Въ нашемъ дѣлѣ все отъ счастья; тутъ — умомъ ничего не возьмешь. Другой и съ умомъ да лѣтъ пять даромъ проходитъ; а я вотъ и неумень, да женюсь на богатой.

Вотъ что, Миша, есть такія французскія слова, очень похожія на русскія; я ихъ много знаю, ты бы хоть ихъ заучилъ когда, на досугѣ. Послушаешь иногда на именинахъ или гдѣ на свадьбѣ, какъ молодые кавалеры съ барышнями разговариваютъ — просто прелесть слушать.

— Какія-же это слова, маменька? Вѣдь, какъ знать, можетъ быть, они мнѣ и на пользу пойдутъ.

Разумѣется, на пользу. Вотъ слушай! Ты все говоришь: „я гулять пойду!“ Это, Миша, нехорошо. Лучше скажи: „я хочу проминажъ сдѣлать“.

— Да-съ, маменька, это лучше. Это вы правду говорите! Проминажъ лучше.

Про кого дурно говорятъ, это—мараль.

— Это я знаю-съ.

А вотъ если кто заважничаетъ, очень возмечтаетъ о себѣ, и вдругъ ему форсъ-то собьютъ—это „асаже“ называется.

— Я этого, маменька, не зналъ, а это слово хорошее. Асаже, асаже... (III, 15).

Дѣло „Бальзаминава“, т. е. хожденіе по улицамъ мимо оконъ богатыхъ невѣстъ, не—трудно и заманчиво,

но, однако, и не безъ терній: то предстоитъ опасность (какъ предостерегаетъ его мать), что „ревнивый мужъ или отецъ вышлетъ дворника съ метлой“, то начнутъ дразнить сидѣльцы у лавокъ, то кучера примутся травить собаками.

„Какое необразованіе свирѣствуетъ въ нашей странѣ, страсти (жалуется самъ Бальзаминовъ). Обращенія не понимаютъ, челоѣчества нѣтъ никакого! Пройду по рынку мимо лавокъ лишній разъ — сейчасъ тебѣ прозвище дадутъ кличку какую-нибудь. Почти у всякихъ воротъ кучера сидятъ, толстые, какъ мясные какіе! только и дѣла, что собакъ гладятъ, да играютъ съ ними; а собаки-то, маменька, какъ львы. Вѣдь, по нашему дѣлу иногда нужно разъ десять мимо оконъ-то пройти, чтобы замѣтили тебя, а они развѣ дадутъ? Сейчасъ засвищутъ, да и давай собаками травить..... Развѣ они знаютъ учтивость“. (III, 42—43).

Бываютъ непріятности и посерьезнѣе. Такъ, въ пьесѣ „Свои собаки грызутся—чужая не приставай“ чиновникъ Устрашимовъ грозитъ побить Бальзамина, за соперничество; въ сценахъ „Зачѣмъ пойдешь—то и найдешь“ отставной офицеръ Чебаковъ эксплуатируетъ его, заставляя одѣваться башмачникомъ и передавать письма, рискуя поплатиться боками. Но самый непріятный для Бальзамина случай—это изгнаніе изъ дома Ничкиныхъ. Въ самый день знакомства, когда должна была повиданному уже благополучно рѣшиться судьба Бальзамина, къ Ничкиной пріѣзжаетъ ея братъ Неуѣденовъ, простой и грубоватый, но дѣльный купецъ, челоѣкъ со здравымъ смысломъ. Онъ сразу понимаетъ, что за женихъ у племянницы, и безцеремонно выживаетъ его изъ дому. Онъ, сначала обиняками, называетъ намѣреніе Бальзамина посвататься—ловкой и нечестной спекуляціей; его самого—аферистомъ, намекаетъ, что ему „вся цѣна-то двѣ копѣйки ассигнаціями“; а на замѣчаніе разсер-

дившейся Капочки: „вы, дяденька, оттого такъ разсуждаете, что вы совсѣмъ необразованы“, говорить:

Именно, мой другъ, необразованы. Не одна ты это говоришь. Вотъ я тѣ голые-то, которыхъ мы обуваетъ да одѣваетъ, да на безпутную ихъ жизнь деньги даемъ, тоже насъ необразованными зовутъ. Имъ бы только отъ насъ деньги-то взять, а родни-то хоть вѣкъ не видать.

Эти слова, наконецъ, проняли старуху Бальзаминову; она встаетъ и говорить:

Послѣ такихъ словъ, намъ съ тобой, Миша, кажется, здѣсь нечего дѣлать.

— Да, похоже на то (прямо заявляетъ Неуѣденовъ). На ворѣ-то видно, шапка горитъ.

Но Бальзаминовъ остается невозмутимъ.

Я этихъ словъ, маменька, на свой счетъ не принимаю (говорить овъ).

— Нѣтъ, я на вашъ счетъ (успокаиваетъ его Неуѣденовъ). Вотъ маменька-то ваше поумнѣе—сейчасъ поняла.

Я за большимъ, пожалуй, не погонюсь: мнѣ хоть-бы что-нибудь дали (простоудушно пробуетъ торговаться Бальзаминовъ).

— Вѣдь у тебя ни гроша нѣтъ, такъ тебѣ все барышъ, что ни дай (возражаетъ ему Неуѣденовъ).

Въ такомъ случаѣ, прощайте-съ. Я не ожидалъ (заканчиваетъ изгоняемый женихъ) (293).

Въ этой удивительно-художественной сценѣ съ замѣчательной яркостью обрисовывается передъ нами характеръ Бальзаминова. Мы видимъ здѣсь и его ненасытную и настойчивую жажду денегъ, и его необходимость (съ одной стороны, происходящую отъ не имѣнія чувства человѣческаго достоинства, съ другой стороны отъ несомнѣннаго его добродушія и даже кротости), и его глупость.

Человѣкъ добрый и незлобивый, Бальзаминовъ необыкновенно глупъ. И глупость его не секретъ. Объ

ней знаетъ и сокрушается мать; объ ней знаютъ кухарка Матрена, сваха Красавина.

Эхъ, молодое, зелено! (разсуждаетъ старуха Бальзаминова). Все счастье себѣ хотеть составить, прельстить кого-нибудь. А я такъ думаю, не прельстить онъ никого; разумомъ-то онъ у меня больно плохъ. Другой и собой-то, изъ лица-то неказистъ, такъ словами обойдетъ; а мой-то умныхъ словъ совсѣмъ не знаетъ. Да, да! Ужъ и жаль его..... На мой-то бы глаза лучше и нѣтъ тебя, а другіе-то нынче разборчивы. Поговорять съ тобой, ну и увидетьъ, что ты умомъ-то недостаточенъ. А кто-жъ этому виновать... Глупенькой ты мой! (II, 254).

Чрезвычайно интересенъ споръ Бальзаминова съ Красавиной и Матреной объ умѣ.

Ты самъ разсуди! Какую тебѣ невѣсту нужно? (говоритъ Красавина).

— Извѣстно какую, обыкновенную.

Нѣтъ, не обыкновенную. Ты человѣкъ глупый, значить...

— Какъ-же, глупый! Ишь ты дурака нашла!

А что, уменъ? (вмѣшивается въ разговоръ Матрена).

— Ты молчи, не твое дѣло! (кричитъ Бальзаминовъ на кухарку).

Ты послушай! (продолжаетъ сваха). Ты человѣкъ глупый; значить тебѣ...

— Да что ты все: глупый да глупый! Это для тебя я, можетъ быть, глупъ, а для другихъ совсѣмъ нѣтъ. Давай, спросимъ у кого-нибудь.

Давай, спросимъ! Да нечего и спрашивать. Ты повѣрь мнѣ: я человѣкъ старый, обманывать тебя не стану.

Какой ты, Михайло Митричъ (вмѣшивается опять Матрена), какъ погляжу я на тебя, спорить здоровый! Гдѣ-жъ тебѣ съ ней спорить!

— Какъ-же не спорить, когда она меня дуракомъ называетъ?

Она лучше тебя знаетъ. Коли называетъ, значить правда. (III, 52).

Бальзаминовъ сердится на обижающихъ его сваху и Матрену. Сердце его на сваху держится потомъ довольно долго. Но въ сущности настоящаго гнѣва и

злости въ душѣ его нѣтъ. Человѣкъ безхитростный и добродушный, не себялюбивый и отнюдь не гордый, онъ даже вскорѣ сознается (и что особенно цѣнно, сознается передъ самимъ собою), что въ вышеприведенномъ спорѣ онъ былъ неправъ. Попавши въ садъ Пѣженовыхъ въ образѣ башмачника, онъ приходитъ къ заключенію, что теперь надо объясняться въ любви, и начинаетъ сокрушаться, что „ничего не придумалъ, никакихъ словъ не прибавилъ“.

Эка голова! (бранить онъ себя). Что ты будешь дѣлать. Будь тутъ столбъ или дерево покрѣпче, такъ-бы взялъ да и разбилъ ее въ дребезги. Сваха-то давеча правду говорила, что я дуракъ. (Ш, 68).

Обратимъ вниманіе еще на одну черту Бальзамина: онъ—мечтатель, любитель мечтаній. Мечты его чрезвычайно разнообразны и комичны. То онъ, въ сумеркахъ, начинаетъ представлять себя генераломъ, или человѣкомъ высокаго роста и брюнетомъ необыкновенной красоты; то съ наслажденіемъ раздумываетъ о томъ, какъ было-бы хорошо спать себѣ „голубой плащъ на черной бархатной подкладкѣ“; то вообразить себя владѣльцемъ дома (подъ окнами котораго ходитъ по своему „дѣлу“), хозяиномъ, сидящимъ „поутру за чашкой кофею въ бархатномъ халатѣ...“

Вы не знаете, маменька (говорить онъ), какое это удовольствіе—мечтать. Иногда такъ занесешься, занесешься, даже вскрикнешь: „Эй, четверню закладывать въ карету!“ (Ш, 7).

Но самая замѣчательная сцена мечтаній Бальзамина, это въ послѣдней пьесѣ трилогіи. Помечтавъ о томъ, какъ было-бы хорошо жениться и на Пѣженовой и на Бѣлотѣловой заразъ и соединить ихъ сады, Михаилъ Дмитричъ говоритъ:

Нѣтъ, маменька, самъ чувствую, что начинаетъ все путаться въ головѣ, такъ даже страшно дѣлается. Плановъ-то много, а обдумать

